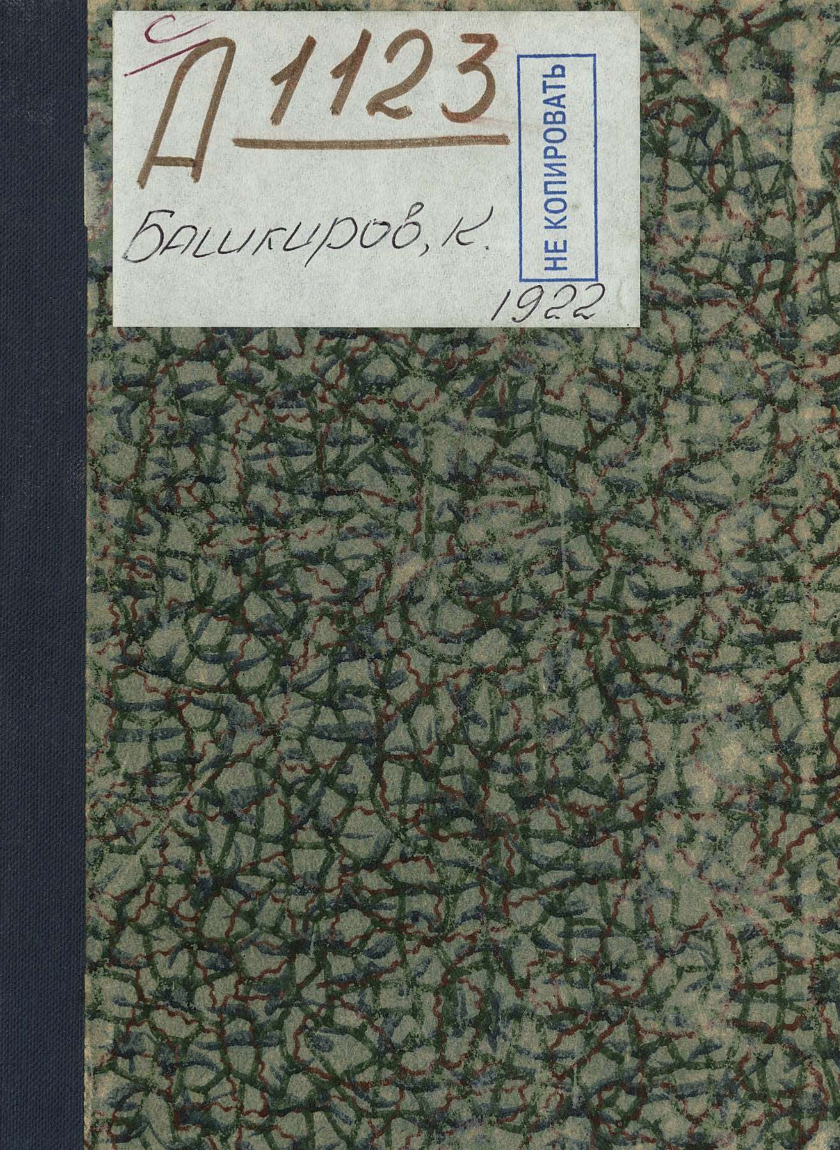

С
Д 1123
Башкиров, К.
НЕ КОПИРОВАТЬ
1922



ПОД БЕЛЫМ КРЕСТОМ

АК

К. БАШКИРОВ.

Под Белым Крестом

(ЧЕМУ Я БЫЛ СВИДЕТЕЛЕМ).



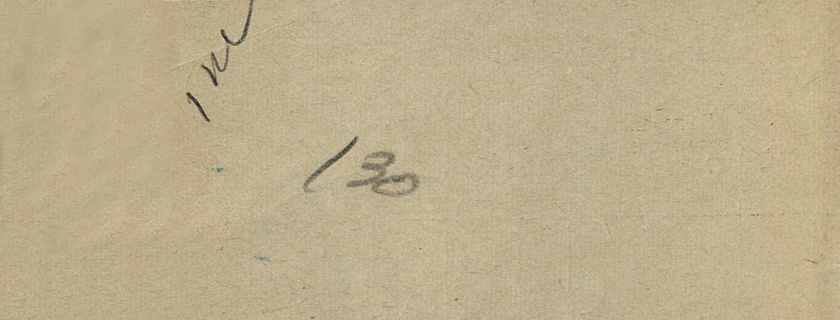


РИГА.
1922.



Печатано в типографіи „Дзинтарс“, Рига, Елисаветинская 22.

627/16—250 тыс.


130

Вместо предисловия.

Два года томят меня они. Два года стоят передо мной, как живые.

А я видел и слышал частицу, маленькую, ничтожную, из всего тсго, что было. Каждое продвижение вперед — целая книга кровавых кошмаров. Непосильная для одного человека.

Молчать?!... — Может быть, и лучше не трогать мертвецов? Но они еще не в могиле. Их трупы маячут по поверхности, распространяя зловоние.

Молчание гнетет, и тени ушедших взывают из тьмы безвестных могил.

Кто они, где они?!... Но их тысячи тысяч... В дебрях Сибири и Урала, в раздольях Украины и Поволжья, в лесах и болотах Северо-Запада...

Большинство ждало свободы, рождавшейся в муках Нового Дня. Верило, надеялось, трепетало.

А пришла виселица, пуля. Некто в черном стал у дверей Свободы и преградил ей путь. Плюнул в лицо и надругался. Как над последней проституткой.

Повесил ее на первом придорожном суке, обнаженную, избитую, истерзанную.

И поставил над ней Белый Крест.

Неумолимая, жестокая, ненасытная Смерть праздновала свой праздник. Побеждала Свободу.

А некто третий смеялся и ждал. Время работало за него, как мышь.

И шли вперед по дебрям и болотам русские Иваны. Несли Белый Крест и верили.. верили...

Их манил рассвет нового дня, Дня Свободы и Счастья.

Вперед, вперед, к заветной цели, к „Синей Птице"...

Но ворвался в ряды их некто в черном с Белым Крестом. И они, ослепленные, творили его волю, думая, что творят свою и строют Счастье.

А строили виселицу на старых колодцах, высоких телеграфных столбах...

Культура XX века, бездушная, служила верную службу Смерти и Злу.

Но они шли вперед и вперед, пока Время не сделало своего дела. А тогда бежали назад, разбитые, нищие духом и телом, подавленные обманом, униженные и обобранные.

И Зло смеялось в лицо им своею страшною рожей. И неслись лавиной другие под Красной Звездой.

Година испытаний и мук, ненависти и крови.

Она всюду. И Белый Крест, наивно прикрывший виселицу, весь в крови и язвах.

Умерли, ушли, их больше нет. А кошмары живы.

О них и говорю я.

Ибо искал иного и не находил. Жаждал, а родник живой воды иссяк, едва прожурчав.

Да и журчал ли он?—Не ведаю.

Может-быть, то был обман слуха, мираж жаждущего?—Не ведаю.

Но почва была суха от воды и мокра от крови и слез. Они заменили воду и лились широкими потоками по скорбному лику России. В чаянии Нового Дня.

И льются еще...

Одни вливали „вино новое в мехи старые", другие—„вино старое в мехи новые". И мехи не принимали его.

И вопят тысячи безвестных могил... Смотрит жуткое лицо изгнанников родины...

— Мы искали справедливость и Свободу.
А нас обманули...
— Мы шли строить жизнь Нового Дня.
А строили виселицы.
— Но кто бросит в нас камнем?

Камень застывает в руке. Ибо не они, нищие духом, повинны во Зле. Они не ведали, что творили.

Змея Зла и Обмана ползла сверху. Гнездилась в черных мыслях черных героев. Питалась их ненавистью к Новому Дню, их личной обидой и корыстью. Они жаждали крови брата, чтобы построить на ней старое здание.

И спросит Господь:

— Каин, где брат твой Авель?

И ответит новый Каин Господу:

— Разве я сторож брату моему...

Белый Крест, виселица, звезда—

Страшный канун Нового Дня...

Рига. 22/XI—1921. Автор.

По фронту и тылу.

1.

В вагоне накурено, душно. Сидят и лежат в три яруса. Стоят в проходах и на площадках.

Из окон медленно мелькают осенние поля. Бродит тощая корова. Болота. День тоже серый и скучный.

— Тимоха, помнишь, как мы его, — бубнит наверху заскорузлый, обросший грязью солдат. — Только й успел ахнуть. А молодец—без повязки.

Тимоха одобрительно хмыкаетъ и ухмыляется:

— Денжищ-то што, — поди, комиссар, — говорит он.

— Известно, коли кожаная куртка — комиссар.

— А што, братики, выгодное это дело? — спрашивает какой-то новичек.

— Еще бы: коли поймаешь комиссара, беспременно тысяч 100 при ём. Как пить дать. У нас так с начальством и заведено: поймали, сейчас на расстрел, а деньги промежь себя поровну. Потому, коли хорошо одет и деньги есть — коммунист.

Молчат раздумчиво.

— Эх, братики, сколько ихнего брата так-то вот угробили, и не перечесть! — вздыхаетъ бывалый. Ему даже скучно. — И молодцы есть — храбро на смерть идут,—еще над нами же смеются.

— Стало, дело доходное, — резюмирует новичек.

— И-и!!..

И еще долго ведутся разговоры о расстрелах за кожаную куртку. С подробностями, деловито.

В вагоне висит пелена дыма, тепло. Скоро Ямбург. Так встретила меня „белая Россия“.

2.

В маленькой комнатушке в Нарве сидит на постели молодой офицер. Он попал на фронт недавно.

Чистенький, выбритый. И мысли у него еще чистые.

— А знаете,—говорит он,—я ведь мог сразу разбогатеть. У нас через фронт недавно перешла какая-то женщина. Задержали. Документы в порядке и триста тысяч царских.

— Что ж вы с ней сделали? — спрашивает старый офицер.

— Отпустили.

— Как? С деньгами? — искренно изумляется он.

— Ну, да, — ведь, у нее всё в порядке было. Нельзя же так расстреливать.

— Странный вы — коли деньги, — значит коммунистка. Без разговора к стенке, а деньги себе.

— Так-то так, да только как-то неловко было. Я и сам теперь думаю, что ошибся: а можетъ быть и коммунистка, кто ее знает. Лучше бы расстрелять.

И это он говорит совершенно спокойно, точно речь идет о самом обыденном деле. Да так, положим, оно и было.

3.

В тесном зале Гдовского Земства битком набито. Идет военный суд над двумя кооператорами — И. И. Соловьевым и А. Ф. Моховым. Их обвиняют в коммунизме.

Обвинений никаких. Одни подозрения. Один даже работал у эсеров.

Публика взволнована. Все их знают — свои. С нетерпением ждут приговора.

Суд удаляется. Выходит через несколько минут.

— Приговорены к смертной казни за содействие коммунистам.

Зал охает. Никто не верит.

Священник, приводивший к присяге свидетелей, выходит из зала суда весь в слезах.

— Да как же, как? — повторяет он. — Ведь, они хуже коммунистов. Они сами подготавливают переворот, — и беспомощно оглядывается по сторонам. На лицах окружающих сочувствие.

Не верит и защитник.

За обоих ручается целая организация — Гдовский Союз Кооперативов, хлопочут. Но даже просьба прокурора об отсрочке казни не помогает. Комендант Штейн... „не хочет портить хороших отношений с председателем военно-полевого суда Бибиковым“.

Обоих вешают в ту же ночь на старом колодце в огороде гдовской тюрьмы. По холодным проводам телеграфа несется запоздалая просьба к Юденичу о приостановке приговора.

А из уезда барон Гюне, начальник контрразведки в Выскотской волости, продолжает поставлять „живой материал“ для Бибикова. Про-

сить, хлопотать — бесполезно: Бибиков действует механически, бездушно. Он — Царь и Бог Гдова.

Но он только вешает, не расстреливает. Не хватает даже веревок. И по ночам являются в Союз и требуют новых.

А перед этим по городу проходили с веревками на шее приговоренные Балаховичем. У него свой Бибиков—полковник Энгельгардт—холодный, бездушный палач. Подстать „батьке".

Эти и вешают и расстреливают публично, днем.

Бибиков любит ночь.

4.

Массовые расстрелы и повешения вызывают протест даже начальника контр-разведки сев.-зап. армии.

„Честь имею доложить Вашему Высокопревосходительству,—пишет он в совершенно конфиденциальном докладе Юденичу, — что практикуемая система расстрелов чинами северо-западной армии и, в особенности, отдельными ее отрядами (например, в Олонце, где были расстреляны даже машинистки и рассыльные совета), подозреваемых в сочувствии коммунизму, приводит к совершенно обратным результатам. Белые организации по ту сторону фронта, оказывавшие нам колоссальную помощь и могущие явиться опорой при продвижении армии вперед, разбегаются, не дожидаясь ее вступления. Многие уходят к Деникину. Такая система расправы, не оправдываемая действительной необходимостью, в корне подрывает борьбу с большевиками и возбуждает ненависть к нам"...

Так писал начальник контр-разведки.

А почти одновременно с его докладом в Гдовском уезде расстреливают около трехсот крестьян за то, что они состояли в „коммунах“. Расстреленные принадлежали к наиболее зажиточным и пошли в коммуну ради спасения хозяйств.

5.

Ночь. Около 2 часов. В воздухе холодно. Небо затучено. Только что протрубили тревогу, и на улицы высыпали граждане, вытаскивая с собой первое, что попало под руку. Двигаются телеги. Чувствуется напряженность и ожидание. Проносятся автомобили с штабными. Идут какие-то части. Штабы выезжают в Нарву. Начальство бежит первым.

Сегодня 11-е ноября 1919 года.

К вокзалу пробегают автомобили, груженные продовольствием. Военно-пленные — те же русские—помогают нагружать вагоны. Они голодны. Пользуясь случаем, отсыпают муку в карманы драных штанов, в куртки.

— Всё равно, не успеют, — замечает один из них безразлично, в пространство.

Жуткая тишина. Слабо белеет тонкий снег. Фонари притушены. Зябко.

Вдруг вдалеке затарахтел пулемет. Прервался. Снова. Орудийный выстрел — один, другой.

Это „броневик“ белых обстреливает со станции позиции красных, в четырех верстах от Ямбурга. Прорыв наскоро ликвидируется.

Случайно оборачиваюсь и вижу на путях ползущие фигуры. Их четверо или пятеро.

Ползут, приподымутся, пробегут несколько

шагов и снова припадут к земле. Обращаюсь к соседу:

— Смотрите, что это?

Он вглядывается в тьму и в случайном луче костра видит формы.

— Красные... — бесшумно говорит он. — Разведка...

Но теперь не до них. И они — те же русские, — рискуя шкурой, подбираются к самому центру, заглядывают в гнездо белых.

Их храбрость невольно заставляет неметь.

Что их побуждает? Не одна же дисциплина и расстрелы...

6.

Окопы белых в четырех верстах от Ямбурга. Случайные, вырытые наспех.

Ведь, белое командование было так уверено в победе, что не укрепляло тыла.

Бруствер—мох и лед. Плохая защита—пули так и нижут.

В окопе сидит человек десять „талабцев“. Это — опора белых.

Они спокойно вглядываются в тьму, зябко кутаясь в лохмотья шинелей и одеяла.

За пригорком костер. Прикрытый. У костра сидит молодой офицер в щеголеватом английском френче. Он только недавно приехал из Англии.

Глаза его отражают блестки костра. Он думает какую-то тяжелую думу. Может-быть, о доме, семье...

А из окопа выбегают солдаты по очереди. Полежат, погреются и обратно. Без шума, разговоров, просто, точно во время косьбы.

Почти беспрестанно стрекочет пулемет. Винтовка не нужна.

Красные, как тени, выходят из перелеска и бросаются в штыки, не стреляя. Пулемет косит их, как траву. Навалены живые брустверы, точно ряды сена. Страшная косьба...

— И чего они прут так?—изумляется солдат у костра.—Как бараны. Аж жалко бить их. Тоже русские, ведь...

А пулемет стрекочет, и новые ряды красных ложатся поверх прежних. Жутко.

Дикая смерть. Еще часа три до рассвета. Красные наступают и гибнут.

Гибнут храбро, стойко. За что?

7.

Это было у Царского.

Танки—надежда белых—двинулись вперед. Ряды красных дрогнули, но скоро оправились.

— Вы подумайте только, — говорит англичанин-танкист, работавший на германском фронте.— Нет, вы представьте только. Ползем мы в танке. С боков нас обстреливают. Мы отвечаем. Вдруг впереди, на дороге, вижу: с колена стреляет в нас красный, должно быть, курсант, или матрос. Они бесстрашные. Стоит точно зачарованный и не видит нашего приближения. Пули отскакивают, как горох. Я не выдержал, приподнял крышку. Кричу: — Сойди с дороги, раздавим, черт! — А он все стреляет и норовит попасть в меня. Бледный. Глаза страшные. А танк всё ближе. Закрыл я глаза и не слышал даже, как раздавили. Только потом не утерпел — выглянул. — Мокро, немного крови, куски мяса. Странный народ эти русские...

Да, очень странный: почти все танки приходили исцарапанными штыками. Этого не делали и немцы.

8,

Первые дни захвата Пскова. Красные бежали. Позиции заняли белые. Во главе их полковник Товаров, служивший раньше в Совете.

Стоят у Крестов. Верстах в трех от Пскова.

— Господин полковник, можно мне в город? — спрашивает молодой офицер.

-- А деньги есть?

— Никак нет!

— Ну, как же вы без денег. Иванов, — зовет Товаров вестового. Вбегает солдат, самый обычный, серенький и вихрастый.—Поручику Н. нужно в город. Понимаешь... того, в разведку надо. У мужиков что-нибудь реквизнуть. Да живо..

Иванов уходит и через час рапортует:

— Так што, ваше скобродие, корову взяли, потому коммунист ён.

Поручик отправляется в город, а за ним ведут корову. Те же деньги.

9.

У крыльца избы, где помещается штаб Товарова, толпа баб и мужиков. Без шапок. Стоят уже давно. Какие-то пришибленные.

Из избы случайно выходит офицер.

— Отец родной,—голосят бабы,—не оставь. Похлопочи у начальства. Корову последнюю свели. Говорят—коммунисты. А какие мы коммунисты! Видит Бог, никогда ими и не были. Похлопочи. —Слезы текут по ее лицу.

Офицер входит в избу. На крыльце появляется сам Товаров.

— Вы что, ... вашу мать, бунтовать, жаловаться?.. Красным помогаете, а потом сюда же

лезете. Вон отсюда, мать вашу.....! — И долго еще висит в воздухе жестокая матерная брань.

Толпа расходится недоуменная:

— Вот-те и беленькие! Тоже ждали их...

Полгода спустя Товарова судили в военном суде за вымогательства и грабежи. Суд нашел, что он „действовал в особых обстоятельствах“ и оправдал.

10.

Но были и такие, которые шли на смерть с верою, честно и чисто. Они умирали на передовых позициях. Терпели лишения, голод, холод, обрастали грязью и вшами. Но они были на фронте, впереди. Они отметали от себя всю нечисть и пытались бороться с разгулом и грабежами.

Но... „семеро с ложкой, а один с сошкой“. На каждого из них приходилось по доброму десятку тыловиков и мародеров.

Они были обречены заранее. С того момента, как бывший жандарм, генерал Владимиров*), прямо и откровенно заявил в частной беседе:

— Мы знаем, поход на Петроград кончится неудачей. Успех—это небывалое счастье. Но во всяком случае поход этот даст нам возможность подзаработать.

И они подзаработали. Цинично, но откровенно.

Солдатам же бросали фейерверк лозунгов и туманных обещаний.

---

*) Настоящая фамилия его—Новогребельский, но мы пользуемся и в дальнейшем этим псевдонимом, ибо он более знаком публике.

С них довольно и этого, — не им же делать политику и участвовать в походе духовно. На это есть начальство.

11.

В пять дня 24-го мая разорвался первый эстонский снаряд. В Великой, у видавшей виды Покровской Башни.

Белый столб воды взлетел вверх и рассыпался тысячами брызг.

За ним следом разорвало воздух еще несколько снарядов.

А днем было спокойно. Только товарные вагоны на Базарной площади нарушали мирный вид.

В советских учреждениях всё уложено, в ящиках. Служащие разбрелись. Их не берут.

В Губпродкоме всё перевернуто. Комиссары распределяют между собой деньги. Горы бумажек.

Значит, бегут.

Красные войска поспешно перебираются через мост. Мосты минированы.

В пять ударил первый снаряд.

По городу мечется, как угорелый, советский автомобиль, забирая с собой избранных.

Суетятся.

Вот пробежал, надевая на ходу куртку, помощник комиссара продовольствия Котлов. Лицо страшное. Кровинки нет. А глаза озираются дико по сторонам.

Кричу:

— Товарищ Котлов, куда вы? Эстонцев еще, ведь, нет.

Дико посмотрел и бросился бежать к вокзалу. Боится, как бы не схватил.

Всё в движении. Эстонцы медленно приближаются.

А день солнечный. Тепло, весенне.

12.

— Сегодня Псков беспременно возьмут,— говорят в толпе обывателей. — Потому: 25-ое такое число. Всё 25-го.

Тянутся обозы. Спешат к вокзалу. Идут на Порхов.

Отдельные отряды—арьергард—разбросаны еще по берегу Великой, в Детинце.

Когда-то так же стояли псковичи за стенами Детинца, отражая поляков и рыцарей.

Вечерєет.

Вдруг раздается оглушительный взрыв. И тяжелые фермы Ольгинского моста медленно, как живые, подымаются на воздух, останавливаются на мгновение в раздумьи и рухают в реку.

Псков будет сдан.

За выступами старинных стен—пехотинцы.

Вот молодой, белобрысый и пучеглазый красноармеец. Он оперся на винтовку. Смотрит, как эстонцы занимают Завеличье.

— Товарищ, чего не стреляешь?

— Стрелить? Кого? — бессмысленно ухмыляется он.—Всё едино возьмут.

Ему совершенно безразлично, кто будет. Дайте покой.

13.

По городу бродят толпами голодные обыватели. Откуда-то появились исчезнувшие было хулиганы. Тюрьма пуста — вышли все, и уголовные.

Пробираются медленно, по стенкам домов, к складам. Еще тарахтит где-то пулемет, без толку посылая веера пуль по городу. Как тати. Едва огонь сильнее, они бросаются назад, прячутся в подворотнях.

Красноармейцы, в одиночку и группами, перебегают с угла на угол, стреляют, отступая.

Ночь. Стрельба прекратилась, и сразу наступила жуткая тишь.

Бросились громить склады.

Вот барышня, скромная, интеллигентная, тащит коробку с корсетами и гребнями. Гребни рассыпаются по мостовой.

— Послушайте, как вам не стыдно? Ведь, это же грабеж.

— Все так делают, — простодушно заявляет она, и даже не понимает, что здесь преступного.

Громят склад Союза Потребительных Обществ. Организованно: нагружают папиросы в мешки, черпают соль и масло ведрами.

Вот выкатили бочку с сельдями. Докатили до угла. Разбили. В воздухе стоит голодный вой. Точно звери. Мелькают хвосты селедок. Рвут их на части, дерутся.

Бежит баба, оставляя за собой маслянистый след. Она только что побывала в бочке с маслом и теперь спешит домой — отжать.

По улицам валяются коробки папирос, соль, мука, селедки.

Всё то, в чем завтра будет острая нужда...

14.

— Эстонцы переплывают.

По черной, спокойной поверхности реки

медленно двигаются большие лодки. Наскоро сбит паром-пристань.

Вероятно, так переправлялись когда-то поляки Батория, а еще раньше другие враги Вольного Пскова.

Странно-далекая и близкая картина.

По городу быстро прошел к вокзалу маленький отряд коммунистов с Юрием Геем во главе. В полном вооружении, с пулеметами.

Эти еще будут сражаться и погибнут. Но они—единственные храбрецы.

На Базарную площадь вылетает на рысях красная батарея. Она замешкалась. Ее не предупредили об отступлении—забыли впопыхах.

Беспомощно оглядываются по сторонам красные. В городе уже отдельные эстонские солдаты. И красные мчатся, сломя голову, к вокзалу. Кругом враги.

— Господин полковник, нельзя ли прекратить грабеж.

— Грабеж? Сейчас.

Отряжает патруль. Идем по улицам. Хватают нагруженных. Один-второй выстрел, и — улицы снова пусты.

— Черти, принесло их не во-время. Большевистское добро и то не дадут пограбить,— возмущаются на берегу в толпе.

Но эстонцы берут всё под свою охрану. Пришла власть.

15.

А на следующий день утром на столбах висело объявление:

„Граждане! Славные войска Эстонской Народной Республики освободили древний город Псков от ига жидов и комиссаров“...

Это официальный приказ нового коменданта Пскова, эстонского штабс-капитана Ригова.

— От жидов,—перешептываются в толпе.— Стало, эстонцы против них. Значит, можно их бить.

Уже готовятся, хотя евреев и мало.

— Помилуйте, что вы делаете, — ведь, так начнутся погромы,—заявляют члены думы эстонскому командующему кап. Партсу.

Выпускают другой приказ:

„Всякие насилия над гражданами будут пресекаться немедленно и решительно, по всем строгостям военных законов“...

Погромов нет.

А рядом:

„Граждане предупреждаются, что ходить можно только по панелям. Ходьба по мостовой строго воспрещается“...

Бедные псковичи,—эстонцы думают, что они совсем одичали.

16.

— Где у вас склады?—допытываются эстонцы. — Мы должны всё взять под охрану, до прибытия русских войск.

Но едва им показывают склад, как они быстро вывозят всё, находящееся в нем, на подоспевшие пароходы и баржи. Организованно...

— По праву войны.

К счастью, нижние чины берут взятки.

17.

— Мы пришли только помочь вам освободиться,—заявляет кап. Партс.—Прибудут русские, тогда они установят порядок.

Дни идут. Эстонцы нервничают, но русских —Балаховича—всё нет и нет.

— Вероятно, куда-нибудь забрался, грабит,— брезгливо морщится Партс.

В штабе эстонской армии стоит хвост. Женщины, мужчины, подростки.

Доносят на коммунистов, случайно застрявших в городе, друг на друга, по злобе, на жильцов. На глазах у всех, без стеснения, даже с ухарством.

Эта волна доносчиков никого не удивляет. Духовная развращенность, озлобление, жажда мести проявились с небывалым оголением и наглостью.

В комнате, по соседству с доносчиками, сидят заподозренные в коммунизме. Их несколько десятков. Лица тупые от неизвестности.

Говорят, эстонцы ночью вывозят в Печеры и там расстреливают.

Чья очередь?

Захватили даже кассира отделения государственного банка. Старик, лет под семьдесят, глаза слезятся, красно-сизый нос, руки дрожат...

Коммунист... тоже?..

По городу ходят патрули в поисках китайцев и коммунистов.

— Где китайцы?—спрашивают они.—Мы их сейчас расстреляем.

Говорится это так просто, спокойно.

Но китайцев нет.

На берегу Великой валяется первый труп. Комиссар продовольствия Пскова Трескунов. Около виска маленькая ранка. Одежда сорвана. Лицо спокойное и безразличное. Прыгают вороны. Играют кругом дети.

Труп валяется несколько дней, затем кто-то его убирает.

Кто расстрелял—неизвестно. Эстонцы отрицают — они оставляют арестованных для Балаховича.

18.

Заседание городской думы. Выборы „временного правления Пскова“. В зале пусто — боятся. А вдруг придут большевики.

Никто не хочет идти в управу. С трудом убеждают согласиться.

Всё разрушено. Всё с начала. Денег нет, нет и уверенности. Как будто во сне, перед пробуждением.

28-ое мая. На Базарной площади толпа. Что-то кричат, машут платки. Играет музыка.

Проходит маленький отряд русских белых войск. Перед Балаховичем.

Одеты скверно, но лица радостные.

Толпа кричит „ура“! А пять месяцев назад она так же приветствовала красных. Так же будет встречать их, когда они вернутся.

Толпа...

Но жуть проникает в душу: так мало сол-

дат. А где же главные силы? Разве можно удержать с ними Псков?

— Главный отряд с Балаховичем,—отвечают солдаты.

Эстонцы очищают помещения. Уходят в Завеличье. Здесь будут русские.

К вечеру приезжает Балахович. Снова толпа.

Он в странной форме. Какой-то козакин. На галифэ золотые лампасы. Шапка с желтым верхом и серебряным крестом. „Желтые попугаи"*). Среднего роста. Лицо изрытое слегка оспинами. Глаза раскосые и бегают по сторонам. Прямо не смотрит.

Говорит речь. Поздравляет с освобождением от большевиков. Снова кричат „ура". Лица веселые.

А ночью слышна орудийная пальба, стрекочут пулеметы где-то по близости от города. Снаряды эстонцев из Завеличья разрывают воздух над самым городом и уносятся вдаль.

Красные собрались с силами и наступают.

19.

Утро. На Базарной площади оживленная торговля. Масса народа. На столбе, рядом с часовней, висит труп. Ноги его чуть выше столов с хлебом. Рубаха, приподнявшаяся кверху и открывшая голый живот. Слабо повисшие пасконные брюки. Лицо, посинелое, избитое, с высунутым языком, открыто.

Страшный призрак.

---

*) Эту же форму носили и остальные балаховские офицеры. В народе их прозвали „Желтые попугаи".

Кругом толпятся бабы, дети. Идет оживленная торговля хлебом.

А рядом часовня: „Приидите все страждущие и обремененные“...

Как грубо и нелепо...

Мальчишки трогают висельника за ноги, качают его. Он беспомощно поворачивается и точно смотрит на торгующих.

Труп висит три дня.

По утрам слетаются вороны. Они уже выклевали один глаз. Живое мясо. А на лотках тоже мясо.

— Так будет поступлено со всяким коммунистом,—заявляет Балахович, пришедшим к нему с протестом членам думы.

Снова доносы. Снова хватают направо и налево, но теперь уже без всякого разбора.

Полковник Энгельгардт, бритый с сильной челюстью, холодными бесцветными глазами и медленными движениями, знает свое „дело“ не хуже „батьки“. В псковском застенке говорят творятся ужасы. Но Энгельгардт—холодный, механический немец.

Здесь же грабительствующие аристократы—Аксаков, Стоякин, А. А. Макаров и прочие столпы балаховщины.

Их „машина“ работает методически, отправляя попавшегося к праотцам.

20.

Штаб Балаховича в центре города. В здании Губернского Земства.

Напротив телеграфный столб. На нем свежая, исжелто-белая перекладина на две стороны. Внизу помост и лестница. Под перекладиной две подпорки. Виселица.

Бегут мальчишки. Радостно посвистывают, подпрыгивают. Взлезают на тумбы, чтобы лучше видеть.

Женщины с детьми на руках. Сбоку еле поспевают маленькие. Мужчины. Опять женщины. Дети.

Среди них небольшой отряд солдат. Но солдаты ли это? Они больше похожи на разбойников.

Из личной сотни „Батьки"...

За их цепью двое. Один молодой, другой постарше. У второго маленькая русая бородка. Одежда сорвана. Почти голые.

Лица неподвижные. На них налет странной зелени. Глаза ушли в глубину и смотрят прямо, вдаль, поблизости они уже ничего не видят. Ноги, как деревянные. Их подталкивают, они спотыкаются, замедляют шаг, останавливаются и снова идут.

Мальчишки вертятся кругом. Стараются заглянуть в лицо.

— Кровопивцы!..—расдельно произносит какая-то женщина. — Так вам и надо, жиды проклятые.

Они оба русские, православные...

А в стороне щелкают датчане. Они профессионалы. Им нужна фильма. И только. А это— интересно.

Медленно подходят к виселице. Ждут.

На балкон дома выходит Балахович. Кругом его свита. Пьяные.

— Граждане, обращаюсь к вам: кто может поручиться за них? Найдутся поручители — отпущу.

Молчание. Толпа собралась не для этого. Ей нужно зрелище.

Проходят томительно минута за минутой. Тишина. Только мальчишки пристраиваются повыше, да кое-кто продвигается вперед.

Балахович машет платком и поворачивается: он прервал обед и теперь пошел кончать.

Между первым и вторым блюдом...

Приговоренных подводят к виселице. Толпа с жадностью наблюдает каждое движение, взгляд.

Они медленно подымаются по лестнице. Их подталкивают. Вот они ступили на помост. Дают каждому по веревке.

Неразгибающимися, мертвыми пальцами они привязывают их к перекладине, делают петли.

Из толпы несутся шутки, советы, замечания.

Молодой более решителен. Завязав петлю, он быстро накидывает ее на шею.

Старший же, накинув петлю под подбородок, смотрит странно-безучастно и в то же время жадно вокруг.

Толпа волнуется: слишком медлят висельники.

— Ну, черти, живей,—злобно, не глядя, говорит один из солдат.

Но старший снова снимает петлю. Несутся проклятья. Где-то, в стороне, не выдержала женщина. Истерика. Нервничают и солдаты.

Наконец, молодой отчаянно отталкивается и

дергает в воздухе ногами. Толпа облегченно и жутко охает, прикованная к трупу.

Но старший... он снова надевает петлю. Стоит мгновение неподвижно. Бросается и... падает вниз.

Сорвался.

Его схватывают. Диким,— такой может быть только у воскресших из мертвых,—взглядом озирается вокруг и снова взлезает по лестнице.

— Тюря, мать твою...., и петли то связать толком не умеешь,—набрасываются на него солдаты. —Вяжи крепче, мать твою.... Что мы проклятые что ль смотреть, как ты возишься! Коммунист, мать твою...

На брань никто не обращает внимания. Не до того. Толпа поддакивает, издает злобные звуки, рычит... Как звери...

Снова вяжется петля... Снова нерешительные взгляды.

Больше нет сил терпеть эту пытку. Из-за столба протягивается сразу несколько рук и с силой толкают его. Он отрывается от помоста и дрыгает ногами.

Толпа медленно расходится, удовлетворенная зрелищем. Обсуждают подробности. Это первая публичная казнь во всех подробностях.

Трупы висят до утра. Над ними кружатся обнаглевшие вороны, а внизу вертятся мальчишки.

Им весело.

Улицы полны гуляющей публикой. Флиртуют.

Псковским барышням снова раздолье: при-

шли „душки офицеры“ в блестящей форме. Их, ведь, так давно не было.

В „кафэ“, наскоро выросших, битком. Тоже— „блестящие офицеры“ и барышни.

Завязываются новые, возобновляются старые романы. Пьют кофе и едят пирожные.

А на столбах висят трупы.

Кто из них коммунист—тайна.

21.

„Суд народный“ продолжает твориться изо дня в день. Выходит на балкон „Батька“, спрашивает толпу. Она молчит. И в воздухе дергаются новые ноги. А Балахович с гордостью заявляет, что он... „никого не вешает“, — „сами вешаются“... Система.

— Мы к тебе, заявляют владельцы-ломовики, не оставь, батька, накажи М—ва. Он прижимал нас при большевиках.

М—ва вешают. Ибо его никто не знает.

А спустя месяц выясняется, что М—в никогда и не был большевиком, что он скрылся из Петрограда.

Поздно...

— Крест есть? — точно срыву спрашивает Балахович одного из приговоренных к смерти грабителей.

— Так точно, есть.

— Освободить его.

Бывают и такие случаи, когда крест спасает.

Часа два стояла толпа, в ожидании очередной казни. Ругались:

— Чего не ведут! Зря время теряем... Знают тоже—времени мало. Измываются черти...

Выходит адъютант „Батьки“:

— Сегодня казни не будет. Можете расходиться.

— Как? Почему? Чего же вы раньше не сказали? — несется из толпы.

Опечаленно расходятся по домам: казни не было.

22.

У меня есть маленький знакомый мальчик. Ему года четыре. Хороший, способный, из интеллигентной семьи. Его оберегают от „псковской обыденщины“. Но казни проникли всюду. Они— любимая игра большинства детей. Тема для разговора взрослых.

— Скажи, можно кошку повесить?—серьезно спрашивает он.

— Как повесить?

— Да так, за шею. Мы сегодня крысу повесили. Забавная, долго вертелась. Смешно... А кошку можно повесить?

Он еще не видал казней.

К Балаховичу,—он любит блеснуть доступностью и простотою,—входит барышня. Лицо ее подергивается.

— Полковник, ради Бога, прекратите казни в городе. Жить невозможно. Моя мать-старушка с ума сходит. Каждый день, каждый день... под самыми окнами...

Она плачет.

— Съезжайте с квартиры, если не можете видеть,—холодно отвечает Балахович.—Из-за вас

я не намерен переносить казни. Большевики в застенке казнили, а я—на народе. Суд народный. Я прикажу найти вам квартиру,—любезно заключает он.

На обращение членов думы тот же ответ:

— Я не большевик. Для меня дороже всего воля народа. А развращение толпы — ерунда. Надо приучаться видеть всё. Это гражданская война, а не миндальничание.

— Что ж это будет? Что будет? — скорбно вздыхают граждане. — Ведь, большевики тем же отплатят.

А орудия ухают. Слышен сухой треск пулемета.

Наконец, молчавшие до сих пор эстонцы не выдерживают и ведут с Балаховичем переговоры о прекращении казней в центре города. Казни выносятся на Сенную площадь. Рядом с центром.

Наблюдают за казнями и американцы, и англичане. Но это не их дело. Они... „не могут вмешиваться во внутренние дела“...

— Что будет? — этот вопрос волнует всё больше и больше.

23.

Собрание гласных псковской городской думы. Зеленый стол с двумя закруглениями. Окна разбиты. Маленькая кучка народа-гостей—в большом зале. Это—публика.

Должен выступать Балахович, еще недавно разогнавший думу.

Становится с каждым днем тревожней, красные нажимают со всех сторон, и дума снова призвана к власти.

— Полковник, скажите, удержится-ли Псков? Может-быть, вы его не будете защищать? Подумайте, что будет с гражданами, если вы бросите Псков? Надо заранее принять меры. — Сыплются вопросы, тревожные, из среды гласных.

— Мы будем защищать Псков до последней возможности, — отвечает Балахович. — Отдать его красным,—значит, потерять всё. Я еще сегодня получил сообщение, что конный полк Троцкого хочет перейти ко мне. Посланы для переговоров. Еще некоторые части хотят перейти. Положение прочное. Но, конечно, если придется — оставлю Псков. *Я — разбойник.* Город для меня не так важен.

Еще несколько обещаний, несколько хвастливых фраз, и он ушел со своей свитой.

Успокоил...

К вечеру на улицах действительно появляются несколько всадников в фантастических красных костюмах. — Это... „из полка Троцкого... там все в красном"...

А накануне красные почти ворвались в Псков. Еще с вечера вдалеке раздавалась пальба. В синем вечернем небе прыгали и носились, как огненные яблоки, шрапнели. Рвались, выпуская еле заметный дымок. И странно было думать, что каждое такое яблоко—смерть. Какая-то игра, перебрасывание огненными мячами.

А ночью стрекот пулемета, крики „ура“, паника и веселая песня эстонских солдат в городе.

Песня успокаивала. Красные были в Березке, т. е. в Пскове.

24.

Эстонские (броне-поезда) переправились через Великую, они ушли к Порхову. Там идет бой. С каждым днем всё труднее и труднее — красные отовсюду.

— Вы не можете себе представить, что это было, — рассказывает эстонский офицер. — Сумасшествие какое-то. Они (красные) лезли прямо на поезд. Хватались за колеса. Нельзя было стрелять —били их, чем попало. Большевики, видно, напаивают их чем-то перед атакой, — иначе быть не может. Тысяч пять положили,—вся река завалена трупами. А китайцы! выскочит мерзавец на полянку, кругом насыпит патроны. Упрет винтовку в живот и стреляет, стреляет пока не убьют. Дикие. Еще никогда не приходилось так сражаться.

Перешел Вятский полк. Молодые, сытые.

— Что, надоело у красных?

— Э, воевать надоело-то. Батька-то мир обещает,—вот и перешли.

Часть их уже отправлена на фронт. Их даже не спрашивали, хотят ли они воевать.

— Ну, ребятки, отдохнули, поели,—теперь с Богом. Докажите, что вы не зря перешли, — напутствует их Балахович.

Некоторые в городе, на караулах. Они голодают. Ходят по домам и просят подаяние. „Батька“ не кормит.

Это не красные и не белые,—замиренцы. Но их обманывают и снова шлют на фронт. Они опять уходят к красным. Заколдованный круг.

25.

Сегодня разрывали могилы коммунистов в саду кадетского корпуса. Но толпу это уже не интересует. Надоело.

— Падаль эту выбросить так, чтобы и найти нельзя было,—распорядились балаховцы.

Гробы вырывают, ставят на поверхности в ряд.

— Ишь, ты, куда занесло их,—шутит одинокий наблюдатель. — Директорша здесь свою собачку, „Фифи", схоронила, а они рядом.

С мертвецами обращаются, как с падалью. Даже хуже.

А потом будет обратно. Дико...

26.

Появились помещики. Они нащупывают почву. Опубликован приказ Родзянко, предоставляющий помещикам право на получение аренды. Земля—неизвестно как.

Крестьяне волнуются, недовольны.

— Ишь, ты, снова по-старому, — говорят на базаре.—Стало, опять помещики. Уж и то стали шкуру драть за луга. Это не порядок — старого не нужно.

Говорят секретно еще. Но странно: красные хорошо осведомлены о расположении белых. Они появляются в тылу, внезапно.

Чья-то рука помогает.

Балахович вешает заподозренных, но про-

вода пропадают, телеграфные столбы подпиливаются.

Крестьяне ведут борьбу „сапой“. Кругом враги.

Среди эстонских солдат растет тоже недовольство.

— Своих баронов прогнали, а здесь помещиков сажаем. Офицеры обманывают нас. Довольно,—прогнали большевиков от себя — дальше идти незачем.

Ходят по улицам с красными бантами, поют революционные песни. Происходят столкновения с балаховцами. Скрытая ненависть выявляется. Вспоминают, как Балахович грабил в Эстонии.

Недовольство и в отряде Балаховича. Перешедшие возмущаются погонами, дисциплиной. Они снова не люди, а номера. Старые порядки, которые уже не пригодны для пережившего реролюцию народа.

„Личная сотня“ Балаховича занимается грабежами. Выпускает фальшивые керенки.

Балахович приказал принимать.

— Полковник, усмирите же своих солдат. Население ропщет, его обирают.

— Но, позвольте, что же я могу сделать? Не могу же я оголить фронт из-за идиотов.

Стало быть, все разбойники.

А на рукаве шинелей у них „Белый Крест“ —символ мира и справедливости. Лозунг—свобода и Учредительное Собрание.

27.

Начались аресты купцов и зажиточных граждан. Их задерживают, приводят в штаб и коротко заявляют:

— Вы обязаны внести столько-то тысяч.

— Помилуйте, откуда? Меня большевики еще разорили вконец. Всё потерял.

— Но у вас найдутся знакомые, которые помогут вам внести. Это необходимо для содержания армии. В ваших же интересах.

Иногда идет торговля. Не брезгуют ничем. Требуют 25.000 руб. обязательно „думскими“ или „царскими“, а мирятся на 1.000.

„С паршивой овцы хоть шерсти клок!“

Но иногда упорствуют.

— По нашим сведениям, вы в состоянии. Так вот что: на ночь вы обязаны приходить в тюрьму, а днем будете искать деньги. Если убежите—отвечает семья.

Преследуют всех, но главным образом евреев.

Это проект помощника Балаховича, прис. пов. Н. Н. Иванова.

Так собирают „добровольные“ пожертвования на содержание белой армии. Уже раздаются голоса:

— Всё же при большевиках было лучше. Брали в меру.

Это говорят даже „буржуи“.

28.

Июль.

— Вас приглашает полковник Пиндинг для переговоров. Он просил меня указать общественных деятелей. Я между прочими назвал и вас.

Это говорит мне украинский голова Крылов. Человек, может быть, и хороший, да только вокруг него всё подозрительные субъекты.

В пять иду к Пиндингу. Всё равно—какой-то калейдоскоп. Одним впечатлением больше.

Опрятная комната. Мягкая мебель. Как-то даже не верится, что так можно жить в военной обстановке. У белых—грязь и бестолковщина.

Пиндинг не молодой, с лысиной, продолговатое лицо, толстые губы. Глаза неглупые.

— Видите ли,—говорит он,—положение складывается так, что вы, псковичи, должны принимать решительные меры. Вы сами понимаете, что эстонские солдаты не захотят двигаться дальше, если порядки не изменятся. Они не видят цели, ради которой можно жертвовать жизнью. Свою страну мы освободили, помогли вам освободить Псков, а теперь ваше дело отвоевывать территорию дальше, создавать порядок, привлекать население от большевиков на свою сторону. План таков: вы создаете Псковскую Республику и отсюда начинаете освобождение России. Вы устанавливаете в этой области такой порядок, который может удовлетворить крестьян и рабочих. Постепенно продвигаетесь дальше. Так, поясами, только и можно освободить Россию. Посмотрите, —мы поступили точно так же. Эту идею поддерживает и ген. Лайдонер и союзники. Но помните: времени очень мало, надо спешить. В вашем распоряжении всего несколько дней. Наши солдаты могут бросить фронт.

— Но позвольте, полковник, одни мы не в силах заняться этой организацией. Ведь, это—

внутренний переворот. Балахович нас перехватает раньше...

— Это мы учитываем. И мы окажем вам помощь. А пока вот что: срочно обсудите с вашими коллегами мое предложение и возвращайтесь ко мне с ними. Повторяю, время не ждет.

Что это? Отказ от борьбы с большевиками? Один из способов отделаться от Балаховича? Результат ненависти солдат?

Темно и непонятно...

29.

Нас командировали в Ревель выяснять вопрос о Псковской Республике. Поехали двое—я и Горн. Третий „ходок", Азлов, остался. Дипломатическая болезнь.

В кабинете главнокомандующего эстонской армией ген. Лайдонера.

Просто, деловито. Лежат карты. Здесь же начальник генерального штаба. Излагаем причины посещения.

— Да, мне это известно. Это входит в наши планы, — говорит генерал. — Буферная, дружественная республика была бы весьма желательна для нас, а для вас она явилась бы исходным пунктом в борьбе с большевиками. Поможем ли мы?— Если это будет серьезно, то да. Мы знаем отлично, что Балахович разбойник. Вам надо еще выяснить отношение премьер-министра и союзников. Зайдите к ним, а затем возвращайтесь ко мне.

Итак: ни два, ни полтора.

Горн суетится, бегает куда-то, с кем-то видается. Говорит, что ищет краску для бороды К. Думаю, устраивает свои личные дела.

У Штрандмана. Тоже просто, хотя и чувствуется, что глава правительства.

Он очень осторожен в выражениях, маскирует.

— Видите ли, замечает он, — вопрос этот нами официально не обсуждался. Но частные разговоры были. Что ж, попытайтесь. Если будет ваша попытка удачна и союзники вам помогут, мы тоже пойдем навстречу. Эта идея, во всяком случае, (не бесплодна). Сомневаюсь только, чтобы Балахович сдал вам власть добровольно. Но повторяю, всё будет зависеть от успешности вашего предприятия...

„Безумству храбрых поем мы славу“...

Почти следом за нами ходит к властям Н. Н. Иванов. Он чует, что что-то затеяно, что в Пскове им недовольны. И нюхает. Намечает новые жертвы для виселиц Балаховича...

Идем в центр—к англичанам.

Генерал Марч, как истый бритт, не знает ни одного языка, кроме английского. Пользуемся его секретарем, который знает десяток слов по-русски и чуть больше по-французски.

Снова излагаем всё по порядку.

— Псковская республика?!—изумленно смотрит он на нас.—Псковская Республика?!

— Генералу ничего не известно о Псковской

Республике, — поясняет секретарь. — Он просит сказать, где она находится.

Еще несколько томительных минут разговора. Ясно ощущается, что Марч смотрит на нас, или делает только вид, как на сумасшедших. Он знает Балаховича. Знает, что „это храбрый и достойный офицер“, но о Псковской Республике не знает ничего.

— Генерал не в курсе дела. Он предлагает вам зайти к английскому консулу лорду Бозанкету, тот говорит по-русски. Генерал даст вам письмо к нему.

Аудиенция окончена. Получаем письмо и идем к консулу.

Старичек. Лорд. Раньше был в России. Говорят, отчаянный реакционер.

Но что написано в письме? Какими идиотами мы там, должно быть, изображены. Неприятно как-то, но... что поделаешь!..

Снова повторение старого.

— Да, да, генерал Балахович, — задумчиво говорит лорд,—мы о нем что-то слыхали. Он, говорите, вешает на улицах. Может рухнуть фронт. Очень печально. Мы примем меры. А псковская республика? — нам об этом ничего не известно. Ваши граждане так хотят. Я запрошу правительство, как оно отнесется к этому проекту.

— Но позвольте, господин консул, — время не ждет. Эстонское командование предупреждает, что оно снимет солдат с фронта через несколько недель максимум. Псков будет оголен. Мы бы просили вас предпринять шаги перед эстонским правительством о разрешении перехода беженцам

на территорию Эстонии,—ходят слухи, что эстонцы никого не пропустят,—будут стрелять.

— Это я вам обещаю.

Итак, Псковская Республика какой-то странный миф, выдуманный эстонским командованием в Пскове. Однако, центр-то должен знать. Пиндинг действует безусловно по указке сверху. Очевидно, существуют тайные планы. Большевики предлагают выгодный мир Эстонии,—об этом говорят. Ведутся какие-то переговоры. Дело идет, повидимому, к концу.

Странная неопределенность и неуверенность. Псков отходит на задний план. Не все ли равно —кто в нем будет. Но граждане, — что будет с ними после Балаховича? Бульварные столбы будут так же увешены большевиками.

„Око за око"...

А Горн все ищет „краску" для бороды К. У него какие-то свидания. Секреты. Снова выплыл на сцену „спаситель России", Филиппео, предлагавший в Пскове, после проектов спасения, кильки и сардины, паштеты и вино.

Сумасшедший дом какой-то...

30.

Из Гатчины приехал А. И. Куприн. Вид у него ничего — не голодал, хотя и ругается.

Занят поисками водки, даже денатурата . . .

Встретились с ним в Земской Управе. На нем уже военная форма, золотые капитанские погоны.

— Вы что же, А. И., — в армии?

— Нет. Приказали надеть погоны, — вот и надел.

А еще недавно он умел отстаивать свою независимость даже от большевиков.

— Как вы смотрите, А. И., на положение?

— Я — христианский анархист, и мне генеральщина не нравится. Вы понимаете — тупоголовые . . . Здесь ругают Горького, хотят его повесить, если попадется. Идиоты, они не понимают, что Горький — писатель прежде всего. Он не большевик отнюдь, многим помогает, спасает многих. Это возмутительное тупоумие. С ним необходимо бороться.

Куприн работает в „Приневском Краю“. Его редактором бывший паж Лебедев.

— Это невозможно, — жалуется Куприн, — Вы посудите сами: этот мальчишка, паж с узким лбом, говорит мне, что слово „вошь“ не литературное. Вычеркивает „задницу“, а я пишу „гузо“.— Это можно? — спрашиваю. — „Да, можно.“ — А сам, ведь, и не понимает, что значит „гузо“. С ними совершенно невозможно работать — генералы, кретины, Краснов пропах лампадным маслом . . . Провалят все . . .

Печатает в „Приневском Краю“ характеристики Ленина, Троцкого. Выпускает какую-то брошюру. Черносотенствует вместе с генералами, а за глаза их же ругает.

Наконец, нашли спирта. А. И. выпил и забыл об окружающем.

— Русский мужик . . . в нем есть свое, хо-

рошее. Он понял революцию по-своему, и с этого его не сдвинешь. Но русские писатели подходят к нему по — интеллигентски. Они не понимают его. Не понимает его и Бунин. Вспомните моего „Куршу Большеголового“ . . . Вот он каков! . . .

И он вспоминает свой разсказ. Долго говорит о русском мужике. Тепло, без злобы, умно.

Стоим на морозе. Долго, но время бежит незаметно. Сейчас он просто Куприн.

— Уеду отсюда, — заключает А. И. — Здесь работать с овершенно немыслимо — генеральское засилие. Поеду в Ревель, оттуда в Гельсингфорс. Там буду вести борьбу с большевиками, знакомить с ними эмиграцию и западную Европу— они не понимают большевизма.

Куприн уехал. Как дико было слыхать, что он отказался от „Поединка“ и пишет злобные, грязные и глупые статьи.

Он пропал окончательно и пошел на поводу у генералов и черносотенцев, которых в Ямбурге пытался ругать.

Такова участь отрывающихся от народа . . .

31.

Из Гатчины, Царского, Красного волна беженцев. Бегут, боясь мести красных за зверства белых. А белым не верят:

— Всё равно ничего не сделают. С такими порядками далеко не уйдешь.

Многие недовольны:

— Чего лезли, если сил не было. Только край разоряют, да новые жертвы будут. Кричат: у нас армия, сила,—а на поверку ничего и нет у

них. Одни генералы да офицеры . . . Эх, тоже... генералам-то хорошо, а каково нам? . . .

Некоторые не знают сами, почему ушли:

— Другие бежали, — ну, и мы с ними. Возвращаться же теперь нельзя — донесут, что с белыми ушли. Да и неохота как-то, из колеи выбились, всё потеряли.

Появились крестьяне. Гонят скот. Домашний скарб на телегах.

Их белые силком выгнали:

— Если не уйдете, сожжем деревню с вами...

Ушли, а теперь мыкаются в нужде и горе.

Беженцы всюду. Грязь, вонь, нищета, голод, болезни.

Появились спекулянты. В Нарве за золотую цепь дают 8 фунтов хлеба. Всё распродается за гроши. В обмен на кус хлеба, кружку молока.

32.

Вечер в начале ноября. В помещении Ямбургского Союза Кооперативов ночует несколько крестьян. Здесь все время люди — солдаты, беженцы, покупатели . . .

Крестьяне стараются говорить осторожно, — всюду уши:

— Да, белые... Дождались их... — говорит кто-то в пространство.

— Дождались! . . . А что они нам дали? — Ничего. Одна дороговизна, налоги мобилизации. В подводах, не хуже красных, загоняли, — отзываются в темноте.

— А большевики тоже не сахар . . .

— Что и говорить — и они дерут. Да только как-то способнее с ними, — потому свой брат. А тут офицеры . . . Порядки, что в старое время . . .

— Стало, при большевиках вам лучше было?

— Лучше, не лучше, а способнее как-то.

Восторга белые не вызывают. Даже радости нет. Деревня притаилась и смотрит исподлобья, — оставьте ее в стороне. Она устала.

В другом углу бубнят:

— Приехала к нам в Волосово жена генерала Ветренко. Генеральша не генеральша, а б . . дь какая-то. Да и сынишка подстать, — даром, что четыре года — всё произошел, материт не хуже самого. А генерал-то доволен: „Ишь, — говорит, — сынок-то каков. Молодчага! . . .“ Так, вот, приехала, спрашивает: — „У вас, конечно, материя есть?“— Найдется. — „Может быть, и шелк тоже?“ — И шелк есть. — „А ну-ка, — говорит, — покажите: я купить хочу.“—Показали. — „Подходящий, - говорит, — заверните мне этот кусок. Кстати кастрюл нужно. Дайте и их“. — Дали и спрашиваем: — А как же — со счетом? Вы заплатите? — „Приедет муж, он расчитается“. — Приехал. Мы к нему: — Так и так, ваше превосходительство, ваша жена взяла вот тут товара, сказала, что вы заплатите.—Как посмотрит так-то—грозно: — „Пошли, — кричит, — к е . . . матери, пока не повесил.“ — Вот тебе и получили, а потом отчет сдавай. Так-то они всё. Задарма норовят . . .

Долго, за полночь, тянутся разговоры. Хо-

чешь отыскать в них хоть что-нибудь оправдывающее, хорошее и не можешь—всё гнило, мерзко...

И никто не верит в успех. Никто . . .

33.

Из Луги явился профессор Пшеницын. Красный командир. Он командовал у красных речным флотом на Луге и передался белым. Профессорского в нем мало. Больше на бандита смахивает.

Жалуется:

— Чуть было не расстреляли меня белые. За коммуниста приняли. Не послушались меня. Говорил, что с Луги прорыв будет. У меня связь была — в штабе красных сидел на телеграфе свой человек. Все планы знал. Телеграфные ленты принес. Нет, — говорят, — большевики теперь и опомниться не успеют, как мы в Петрограде будем. А теперь бегут.

Ведет он себя странно. То прикидывается чуть ли не большевиком, то ходит, как дурак, и ничего не понимает. Знается с контр-разведчиками. Провоцирует? . . . Может быть, — провокация на каждом шагу. Сыщиков сам черт не сочтет, сколько их . . . Демократизация . . . Разведок тоже много, без меры отмерено.

34.

На фронте работает контр-разведка генерала Владимирова. Опытный, раньше жандармом был.

От нее зависит жизнь и смерть. Нарвская— та детская забава по сравнению с ней. Даже „либеральничает . . ."

—Вы слыхали, конечно, об Ануфриеве. Знаете этот: „я никого не ем", что предлагает всем термос и туфли, способствующие питанию овощами

и фруктами и пищеварению, — спрашивает бывший судебный следователь, а теперь служащий контр-разведки в Нарве. — Так вот, мы его спасли от верной смерти . . .

— Вы? . .

— Ну, да мы. Он собирался ехать заграницу. Паспорт нужен. Генерал Владимиров и вызвал его к себе в Гатчину: документы проверить и паспорт выдать. А этот несчастный совсем не от мира сего: вытащит из кармана пачку документов и сует под нос. Чего у него только не найдешь! Он и комиссар Выборгского Отделения Государственного Банка, и уполномоченный от служащих в Совет, и еще, и еще. Одним словом, большевик, да и только. Ну, Владимиров и решил — „ликвидировать". В Эстонии нельзя — в Гатчине можно. И ликвидировал бы. К счастью, мы во-время узнали и задержали беднягу в Нарве. Что ж вы думаете: сидит он у нас в канцелярии, в отдельной комнате. Машинку пишущую под стол забрал и пишет какие-то копии. Войдешь — глубже забьется. Еле в Ревель с провожатым отправили. А то бы быть ему расстрелянным.

Но это—случай. Дуракам везет, да и охранки враждуют. А то бы еще не одну сотню на тот свет Владимиров отправил без паспорта — большевики рано прервали его „полезную деятельность".

35.

У почты навалены пулеметы. Стоит часовой. На рукаве белый крест. Кругом толпятся гатчинские граждане.

— Ну, теперь больше не будете голодать,— говорит солдат, — сразу хлеба подвезут, торговли откроют.

— А вы как? . . . — стороной допытываются граждане.

— Да уж не то, что большевики. Больше озорства не будет. Мы за свободу.

Так разъясняет солдат из авангарда белых.

Через несколько дней Гатчина стала ближайшим тылом белых. Заработала владимировская контр-разведка. Молодцы на подбор — рослые бесчувственные.

В парке, на сучьях, виселицы.

— Господин комендант, я считаю долгом обратиться к вам с просьбой прекратить казни в городе. Мы довольно и так настрадались и ждали от белых не этого.

— Да вы-то кто? Большевик?

— Вы глубоко ошибаетесь, — я отец студента Ильина, расстреленного по приказу чека вместе с Генглэзами. Этого, кажется, достаточно.

Но . . . виселицы остались . . .

36.

Белые подошли к Лигову. Торжествуют:

— Завтра в Петрограде! Вы где остановитесь — на старой квартире или у знакомых?

Штабные готовятся, В Нарве складывают вещи, документы. На вагонах надписи — „Петроград“. Маски сброшены:

— К черту Ревельское правительство. Нам не нужны большевики. Мы их и близко к Петрограду не подпустим—перевешаем.

Уже назначены коменданты. Распределены районы. Образованы „особые отряды“ . . . для чистки Петрограда . . . от левых. Готовится кровавая баня . . . по спискам и вообще . . .

Вынырнул Марков II, сидевший под фамилией Чернавина в Гдове за печатанием „Двуглавого Орла“, появился молодой Гурлянд—опора академистов Петроградского Политехникума, Видякин и еще и еще . . .

Их много, и все воодушевлены одной идеей:

— Покажем мы Петрограду, как коммунистов поддерживать.

К счастью для петроградцев не пришлось, а то бы „показали“ . . .

Кое-кто сомневается:

— Мало толку будет. В Петрограде раньше одних городовых около сорока тысяч было, а у нас во всей армии меньше двадцати тысяч человек, на одни посты не хватит расставить. В случае восстания, как кур, передушат. Все равно бросить придется.

На фронте и в тылу распространяются слухи:

— Васильевский остров восстал. Рабочие с большевиками сражаются.

— Финны заняли Выборгскую сторону. Мосты разведены. Обстреливают город.

Верят ли? — Пожалуй, мало. Только в первый момент. Потому что на фронте нажим усиливается—это чувствуют солдаты. А тыл—спекулирует на „юденках“*). Он верит . . . прежде всего в возможность заработать на этих слухах. Это главное.

---

*) Так назывались деньги, выпущенные за подписью Юденича и Лианозова, с гарантией уплаты по 1 ф. ст. за 40 р. . . . в Петроградской Конторе Гос. Банка. Когда фронт рухнул, деньги стали называться „крылатками“. Интересно, что на 500 и 1.000 рубл. купюрах были маленькие портреты Николая II и Александры.

По улицам Гатчины ходит хор военных песельников. Во главе—Сокольский, артист. На нем черкеска, папаха. Раздаются старые солдатские песни.

В соборе служат благодарственные молебны. По приказу начальства. На площади—парад „белым героям“.

Здесь тыл. И вполне порядочный человек—комендант Гатчины, кап. Лавров, заменен полковником Мусиным. В белых перчатках.

Начинается царство мундиров и белых перчаток. А с ними виселицы.

37.

Отношение к эстонцам в штабе переменилось. Их роль сыграна—„завтра будем в Петрограде“...

Не стесняясь, крестят их „картофельниками, чухнами, турками“ . . .

Кто похрабрее,—а такие есть и на верхах,—прямо заявляет:

— Только бы Петроград взять, а там мы покажем этим чухнам проклятым,—больно зазнались они. Тоже рес—пуб—ли—ку образовали. Да куда они годны—баронские холопы! . .

Пренебрежительное отношение ползет, как тиф. Даже ямбургские общественники шипят:

— У, чухны, турки, проклятые, поиздеваетесь вы еще над нами! Вот только бы взять Петроград.

Эстонцы косятся. На фронте поговаривают о предательстве русских. В тылу уже были единичные столкновения между солдатами и офицерами.

Но сегодня белые у Петрограда, им плевать на Эстонию, которая им помогает. И плюют . . .

38.

Бермонтовские дни.

По Ревелю проходят отряды эстонских солдат. Требуют от правительства отправки против Бермонта.

Вот подлинный народный энтузиазм. Без фальсификации. Молодцы! . .

В Нарве, да и в Ревеле белые,—не все, конечно, но многие,—не скрывают своей радости:

— Бермонт прорвется к Двинску, а мы отсюда. Сразу большевиков раздавим. С ним фон-дер Гольц. „Железная дивизия". Сила.

— Эстонцам всыпит, да и латышам тоже,— так им и надо, не зазнавайся. Тогда мобилизуем их, да вместе на Петроград.

Борьба латышей и эстонцев с Бермонтом явно раздражает:

— Сволочи, с нашего фронта оттягивают части. Изменяют русскому делу, предатели.

Что эстонцы и латыши не данники белых, а признанные сев.-зап. правительством державы— это забыто.

Союзники тоже на подозрении:

— Латышам помогают наших бить, а к нам хоть бы одно судно прислали.

С тревогой следят за исходом боев под Ригой. Ждут падения ее и продвижения Бермонта.

Не всем же быть политиками и скрывать свои мысли за строками приказов и „отлучений", как это делает Юденич.

А отношения с эстонцами обостряются со дня на день. Уже слышны крики:

— Куррат (черт) партизаны!

Это преддверие.

39.

С „Красной Горки“ были парламентеры. Предлагали сдать форт с условием сохранения гарнизона в неприкосновенности.

Родзянко ответил коротко:

— К е . . . матери! Нам большевики не нужны. Расстрелять!

Парламентеров расстреляли.

„Красная Горка“ ожесточенно обстреливает фланг. Под Тосно разбит Ветренко. Отданы Царское, Павловск, Красное . . . Гатчина и Волосово эвакуируются спешно.

Красные продвигаются неудержимо. У белых потеряна связь между армиями.

Наступают с тылу. Охват.

По Ямбургу день и ночь тянутся обозы. Проходят солдаты. На них странные одеяния. Напоминают отступление французов из Москвы. Женские кацавейки, шали, платки, одеяла. Ноги обернуты в тряпье.

А в тылу все одеты с иголочки. В английские френчи, „танки“. На базаре и в магазинах тоже английское обмундирование. Ген. Янов „работает“,—ему и карты в руки. Старый интендант.

Тянутся подводы. Едут жены офицеров в новых и допотопных каретах. Везут награбленное. Дни и ночи.

Татарская орда . . .

40.

По Нарвскому шоссе валяются трупы лошадей. Вывернутые повозки.

В Дубровке становище. Костры. Люди валяются на промерзлой земле. Избы набиты штабными, лазаретами. Крестьяне впускают неохотно, а эстонские солдаты выгоняют. Вражда.

Подходят всё новые и новые толпы. Армии больше нет. Она смешалась с беженцами. Разлагается быстро. Только у Ямбурга сражаются надежные полки и части.

— Братики, позвольте к костру. Промерзли.

Пускают, не говоря. Настроение у всех угнетенное, подавленное:

— Предало нас начальство-то,—говорят солдаты. — Продали. С большевиком теперь и не берись—осилит. Вот разве что эстонцы-те могут, потому порядки иные . . .

Над Ямбургом клубы дыма. Горят казармы. Подожгли перед уходом.

— Ну, и здорово же нас, братцы, из пулемета обсыпали, как уходить стали. Едва мост перешли. Так и жарят, так и жарят. Стало, в городе свои большевики были. Пулеметы попрятали. Не до них было, а то бы дали.

41.

У Ивангорода аванпост эстонцев. Колючая проволока—от немцев еще. На шоссе вереницы подвод. Пешие.

Эстонцы пропускают только воинские части и с разрешениями. Остальных за проволоку.

Морозно. Ветрено. Вдали мелькают огни города. Там тепло, уютно.

С завистью смотрят беженцы, как проходят военные.

А там, за проволокой, начало скитания, беженских мук. Но сейчас об этом никто не думает. Одно:

— Попасть бы в город. В тепло.

Мороз крепчает. Поход кончился.

42.

Я получил письмо:

— „Ради Бога, примите какие-нибудь меры. У меня жена, ребенок. Меня хотят расстрелять. Я—инженер. Фамилия моя Садыкер. Приехал из Гельсингфорса и поступил добровольцем-шоффером. Меня хорошо знают Карташов и Кузьмин-Караваев. Они могут поручиться. Обвиняют в коммунизме. Но я не коммунист. Это знают все. Помогите ради жены и ребенка. Всё подтасовано, меня хотят ликвидировать во что бы то ни стало . . .“

Вопль . . . из-за могилы. Пытаюсь помочь, хлопочу в правительстве, шлют телеграммы. Безрезультатно—военные власти спешно ликвидировали.

В Нарве случайно встречаюсь с защитником Садыкера. Молодой офицер, юрист и даже весьма черноватый:

— Слыхали о деле Садыкера. Это возмутительно! Ни одного документа, ни одного доказательства. Какое-то ничтожное сообщение финской контр-разведки о перехваченном письме в Россию. Суд отказал в допросе свидетелей, не признал заверенных финскими властями пере-

водов статей Садыкера. Даже не согласился отложить приведение приговора в исполнение до получения свидетельских показаний от лиц, знающих Садыкера по Гельсингфорсу. Впечатление такое, будто кому-то нужно было убрать Садыкера во что бы то ни стало. Это возмутительнейший процесс, вопиющая несправедливость . . .

Так говорил офицер далекий не только от коммунистов, а даже от умеренных социалистов.

43.

Во главе армии, вернее обломков ее, Глазенап. Юденичу больше нечего делать. Он свою миссию закончил.

Издаются грозные приказы. Расстреливают. Видимость „чистки". Еще надеются что-то вернуть.

Но главные грабители таинственно успевают исчезнуть. Среди них скрывается *расстреленный в приказе* поручик Оглоблин.

Встречаюсь с одним из служащих в охране Гатчинского Дворца.

— Вы знаете, большевики не тронули ничего, — говорит он. — А белые пришли, начали грабить. Некоторые из офицеров просили: — „Дайте на память хоть зонтик государыни, ночной горшок."— Смешно и противно. Другие же сами брали, без спросу. Просили только расписки давать. И в тех отказали. Да, уж подлинно грабители. Куда хуже большевиков . . .

А в Ревеле тревожились потом:

— Большевики требуют выдачи грабивших дворец. У них списки есть. Как бы узнать, нет ли там меня.

К сожалению, слухи не оправдались. Кануло.

Армия ликвидирована. Разъезжаются. В порту стоит „Китобой“. Откуда он пришел, куда пойдет — строжайшая тайна. Принимаются на борт только офицеры, да и то не все, по выбору.

На „Китобой“ возят какие-то ящики, тайком, по ночам. В городе говорят:

— Видали вчера-то: стоит лихач, вместо кучера сам Видякин — бывший начальник штаба при Глазенапе. Быстро погрузили ящики и помчались. Следы заметают. Сокровища из Гатчинского Дворца прячут. Теперь не найти их, кончено.

„Китобой“ уходит, увозя с собой кой-кого из главарей северо-западной армии и „обезпечение“ для них. Он в Копенгагене.

44.

По Ревелю носится на авто Филиппео. Ему поручено собрать приглашенных на важное совещание к генералу Марчу.

— Где Пешков, — суетится он в Доме Черноголовых. — Горна никак не могу найти. Куда все они девались? Слушайте, вас тоже нужно.

— А вы не ошибаетесь?

— Да едемте, — вреда от этого никакого.

Приезжаем в английскую миссию. В зале уже ходят взад и вперед столпы северо-западного движения. Тут и Крузенштерн, и Карташов, и Кузьмин-Караваев, и Суворов, и Юденич, и много других. Сторонкой промелькнул Н. Н. Иванов.

— Извините, как ваша фамилия? — обращается ко мне секретарь Марча.

Называю.

— Мы должны извиниться, вы не числитесь в списке приглашенных.

Приходится покинуть столь интересное совещание.

Всё произошло быстро и решительно.

Генерал Марч — человек военный, — дал 40 минут на размышление:

— Через 40 минут вернусь—правительство должно быть образовано. Необходимо немедленно подписать несколько документов.

И через 40 минут по мановению палочки ген. Марча родилось северо-западное правительство.

Н. Н. Иванов остался за бортом. Человек он решительный, притом авантюрист. И ген. Марчу пришлось уступить:

— Видите ли, я не настаиваю, — заявил он новому правительству, — но посоветывал бы вам включить в свой состав г. Иванова. Вы знаете, он очень неспокойный и будет вести подкопы. Лучший способ парализовать его — дать пост министра без портфеля. Но если вам почему-либо неудобно, то я возьму его к себе будто-бы для связи — иначе он своими пнтригами может напортить.

Иванов получит пост министра без портфеля.

Однако, траги-комедии образования северо-западного правительства на этом не суждено было кончиться. Министрами захотелось быть многим.

И к ген. Марчу забегали за справками:

— Генерал, нельзя ли настоять, чтобы меня пригласили в правительство на пост министра здравоохранения, — говорил Марчу д-р Г.

Марч уклонялся. А в городе говорили:

— На дверях английской миссии вывешено объявление, что все портфели северо-западного правительства распределены и свободных вакансий нет.

„Si non é vero e ben trovato“. . .

45.

Правительство работает в контакте с Юденичем. Пытаются. . .

— Кажется, будет трудно работать, — жалуется Богданов, — Юденич тупой и упорный. Он явный реакционер, но пока до времени скрывает это. Вы знаете, он боится сидеть рядом со мной. Думает, что у меня в кармане бомбы. Но мы его всё же постепенно обломаем. . . .

Сотрудничество не только с буржуазией, а и с военными. Кто кого?

Про Богданова спрашивают:

— Правда ли, что он убил пензенского губернатора?

— Помилуйте, что вы! — Ничего подобного. Он просто — землемер.

— Да нет, в самом деле . . . говорят даже, что ни одного пензенского, а и еще какого-то, не то самарского, не то саратовского.

Другие думают, что он скрытый большевик.

Военные круги, — особенно полковник Поляков, заведующий отделом снабжения, — недовольны М. С. Маргулиесом:

— И тут без жида не обошлись. Вот, увидите — будут дела.

Что будет — неизвестно. А про Полякова определенно утверждают, что он присматривал себе домик в Пскове. Ловкий человек.

Многих не удовлетворяет состав:

— Ну, что это за министры! Ни одного с именем. Разве может быть толк от такого правительства. Подумайте только, Филиппео сам развозит газеты по фронту. К тому же они разлагают армию. Вы почитайте только их воззвания...

— Да, ведь под ними подписался сам Юденич! Неужели и он по-вашему большевиствует?

— Юденич!?.. Юденичу больше нечего делать — англичане скрутили его.

46.

Незадолго до рождения ген. Марчем правительства, познакомили меня с лейтенантом Гордеиным. Лицо у него решительное, энергичное. Лоб узкий. Смуглый. Глаза смотрят пристально, но не прямо.

— Я от Юденича, говорит он. — Генерал полагает приехать к армии. Как вы думаете, примет его армия? Каковы настроения среди интеллигенции, крестьянства? Есть ли какие-либо политические группы? Что думают социалисты?

Довольно грубо, белыми нитками. Но всё это в массе слов, в беседе.

— Знаете, генерал так стремится сюда. Он живет в маленьком номере гостиницы. У него денежные затруднения. Но его назначил сам

Верховный Правитель. Я полагаю, что здесь можно будет создать политическое совещание при главнокомандующем. В Гельсингфорсе оно уже имеется. Примут ли его местные деятели, или потребуют участия?

Говорим долго. Впечатление такое: о демократизме не может быть и речи. Идет нечто черное. А Гордеин шпион Юденича.

Больше мы не встречались.

47.

В Ревеле организовался Социалистический Блок. Из эсеров и меньшевиков. Всё молодеж. Опытных работников нет.

Блок стоит на антибольшевистской позиции. Признает вооруженную борьбу, интервенцию.

За ним идет усиленная слежка. Военные власти присылают шпиков из Нарвы. С ним считаются, несмотря на его незначительность — значит, сознают, что позиции их некрепки.

Блок пугало, но он может существовать только на территории Эстонии. Некоторые из министров — члены блока.

Его роль чисто пассивная — иногда пугать военных и хоть сколько-нибудь смягчать реакцию. Но члены его верят в возможность что-то сделать, повлиять.

Наивно, детски. Но это сознается потом, позже...

48.

В правительстве внутренняя борьба с Юденичем. Он туго сдает позиции даже в Ревеле, а в Нарве творит свою власть. У него деньги, он — ставленник Верховного Правителя Колчака.

Кое-кто из министров поговаривает вслух о необходимости переворота. Но кто заменит Юденича? Кто популярен в армии? Да и можно ли заниматься переворотами во время борьбы на фронте? — Нужно мириться и ждать . . . когда генералы поймут ошибочность своей политики. Ждут . . .

Армия продвигается к Петрограду. Красные берут Псков. Юденич издает приказ об образовании генерал-губернаторства в Ямбурге. Власть правительства дальше канцелярий в Ревеле не распространяется. На клочке России — царь и бог— генерал-губернатор Глазенап.

Какой-то веселенький фарс. Всем ясно, что делается, но правительство продолжает играть свою роль . . . „ради сохранения хотя бы видимого единства и продолжения борьбы с большевиками...“

49.

Меня командируют в Ямбург, Гатчину, Лугу. Дают огромный открытый лист на свбодный проезд от лица правительства. По делам агитотдела.

— Можете ехать покойно, но всё же будьте осторожны, — напутствуют меня члены правительства, — в особенности, когда приедете в Ямбург. Помните — там власть военных.

Вот тебе и правительство. В Ревеле и так, без них бояться нечего: здесь эстонские власти и законы.

В Нарве.

— Дайте мне литеру на основании командировки правительства.

— Хорошо. Но вы должны получить предварительно разрешение на въезд в Россию от генерала-квартирмейстера Малявина.

— Позвольте, ведь, у меня же командировка правительства. Кажется, этого достаточно?

— Нет, — любезно улыбается в ответ начальник разведывательного отдела штаба, — для въезда в Россию этого мало.

Случайно встречаю Филиппео.

— Скажите, ради Бога, неужели нужно разрешение военных властей?

— Ну, да, конечно. Я сам беру разрешение у генерал-квартирмейстера.

— Вы? Министр? — изумляюсь я.

— Неудобно нарушать общий порядок, — смущенно оправдывается он. — Да и недоразумения могут быть. Не все, ведь, знают . . .

Поистине „ревельское“ правительство, как иронизируют эстонцы.

50.

Плюю на всё и еду. Ничего—не трогают. Только усиленно следят.

За проволокой русские власти. Пахнет былыми царскими временами. Погоны, честь, цуканье . . . Все, как было в „доброе старое время“. Да так его здесь и зовут.

Кое-где на стенах болтаются обрывки демократической декларации правительства. Жалкие, бессильные, как оно само . . . Слова . . . Слова . . .

51.

Моя задача—наладить распространение агитационного материала.

Иду в управление генерал-губернатора. К управляющему канцелярией Маламе. Старая русская фамилия. Махровая. Здесь он на месте.

Называю фамилию.

— Вы эсер? Работаете в газете? Читал ваши статьи . . . Вам нужно к генерал-губернатору?

Звонит по телефону:

— Генерал просит вас зайти через четверть часа.

Поразительная осведомленность. Точно по радио.

Через четверть часа иду к Глазенапу.

В передней встречает адъютант. Задает тон. Пугает. Еще какой-то вооруженный субъект, кроме караульных. Видимо, „на всякий случай, мало ли что“ . . .

Проводят в приемную. И здесь старое лицо —бывший губернатор Ордынский. Захирелый, потрепанный, ничтожный какой-то.

Дверь открывается и входит сам Глазенап в сопровождении знаменитого ген. Краснова.

Он здесь, а в Ревеле утверждают, что это ложь, что Краснова нет.

— Меня командировало правительство для организации распространения агитационного материала. До нас дошли сведения, что прокламации, листовки, брошюры и даже „Свобода России“ не доходят по назначению. Я предполагал бы в интересах дела воспользоваться, помимо военного, кооперативным и земским аппаратом.

— Так. Но видите ли, я обязан попросить вас предоставлять мне весь материал на предварительный просмотр. К тому же, почему бы вам не воспользоваться комендантами. Вы бы могли работать в контакте с нашим агит-отделом, во главе которого стоит ген. Краснов.

— Я вас не совсем понимаю, генерал. Вы признаете, надеюсь, правительство? Для чего, в таком случае, цензура? В правительстве Юденич.

— Это ничего не значит: там люди гражданские, они могут по незнанию военных условий всё испортить и развалить армию.

— Итак, вы не согласны с моим предложением?

— К величайшему сожалению, нет. В ваших прокламациях есть совершенно неподходящие выражения—„товарищи-солдаты", „земля народу" и т. д. Да и по существу они сильно отличаются от программы адмирала Колчака.

Аудиенция кончена. Всё ясно.

51.

Распространяю прокламации правительства *нелегально*. Раздаю солдатам прямо в руки. Они удивляются:

— Как же так? Это совсем не то, что нам начальство говорит. У нас всё про Бога больше да про жидов. Нельзя ли еще таких бумажек? Только, пожалуй, за них под арест попадешь, а то и хуже. Были уже случаи...

Многие о правительстве совсем не знают. Военные о нем не говорят. Наши же прокламации, написанные крайне умеренно, для них—

большевистские. Краснов пишет по-иному: о „жидах“, царе, распространяют апокрифическое „письмо рабочего“, который зовет вернуться к старому, „когда было сытно и не было жидов“. Говорят, писал сам Марков II.

Пахуче. Махрово. Но зато видно подлинное лицо их.

Здесь правительства нет и не чувствуется. Только Филиппео возит газеты и хлеб беженцам, да иногда появляется Евсеев - ради чего, неизвестно. Он—министр только для своих друзей.

52.

Ветренко захватил Царское. Сдался в плен полк красных. Смотр.

— Жиды вперед! — командует Ветренко.

Выходят девять евреев. Они тоже перешли к белым.

— Расстрелять их!

Почему? За что? — Да за то только, что они евреи. Этого здесь довольно. Даже добровольцем еврей попадает с трудом.

А в „Декларации“: „правительство не делает никаких различий между национальностями“...

Но здесь *своя* „декларация“, неписанная.

53.

Юденич объявляет Балаховича дезертиром. Внутренние распри в разгаре. Балахович скрывается у эстонцев.

— Разве вы не знаете, что Балахович—разбойник?

Эстонцы поясняют:

— Конечно, знаем, но Балахович нам нужен,

как противовес Юденичу. Оба лучше. Пока же он нам помогает держать Юденича на цепи. Минует надобность—мы его сразу уберем. Нам-то он не опасен.

И эстонцы правы—разве можно верить обещаниям правительства, за которым нет никакой реальной силы.

А одновременно, не без ведома Юденича, в поезде задушен начальник штаба Балаховича Стоякин, арестованный за грабежи. Это здесь в порядке вещей. „Убирают“ без шума.

54.

Красные берут Псков . . . 25-го августа. — „Роковое число“ . . .

Винят друг друга, Балаховича, Юденича. Забывают лишь о своих порядках.

Н. Н. Иванов кратко телеграфирует:

„Не считаю возможным оставаться в среде подобного правительства“ (т. е. потерявшего Псков).

Он забыл о своей псковской деятельности. Его исключают. Телеграмму не публикуют— неловко.

Иванов продолжает именовать себя министром. Потеха . . . Совсем, как дети, играющие в автомобиль: „Ну, а ты воняй бензином“ . . .

Смердят, не только воняют.

55.

Капитан Л—нин. Один из организаторов восстания на „Красной Горке“. Энергичный, решительный, пользуется любовью своих бывших солдат.

Теперь он в тылу. Юденич и Родзянко его

никуда не назначают. Боятся популярности среди солдат и . . . левизны.

Но он отнюдь не левый. Просто отошел от былого и понимает, что полного возврата к нему быть не может. В этом вся его левизна.

— Мои товарищи по „Красной Горке“ все или в тылу или рассортированы по отдельным полкам. Не оставили вместе и солдат: организованы и объединены—могут еще требования какие-нибудь предъявить. Опасно. А знаете, как нас встретил Родзянко? Выстроил и говорит:

— У нас будете получать белый хлеб и свинину, а у большевиков вас голодом морили.

И только,—да и то неверно: не так уж мы голодали. Ему шепчут:

— Ваше превосходительство, нужно несколько слов о политической платформе,—ведь, они от большевиков перешли.

— Политикой заниматься солдатам нечего. Их дело воевать, а когда освободим Россию от большевиков, тогда и будем решать, как быть. Во всяком случае национальное собрание будет созвано.

Солдат это не удовлетворило. Многие сожалеют, что перешли. Верили, ведь, что белые несут свободу.

56.

В Гдове „знаменитые“ туляки. Они сюда из Гомеля, где неудачно свергали советскую власть и весьма удачно грабили.

Сыпят направо и налево „царскими“. Развратничают. Хулиганят. Дисциплины никакой—банда. Во главе капитан Стрекопытов.

Говорит о себе, что он анархист-индивиду-

алист; иногда эсер. Вернее никто, просто один из атаманов многочисленных шаек. На пальцах дорогие перстни, одет с иголочки. Денег достаточно. Он тоже в тылу.

Это—„Тульский Батька“ . . .

Любит рассказывать о гомельском восстании.

— А почему же вы там еврейский погром устроили?

— Это не мы - толпа. Мы были бессильны бороться с ней. По моему же приказу расстрелено несколько человек.

— А правда ли, что вы забрали деньги из Ьанка?

— Взяли. Нужно же было содержать солдат, когда отступили,—иначе они бы разбежались. Но поляки нас обобрали до ниточки и заключили в лагерь, еле удалось добиться разрешения на присоединение к северо-западной армии. Да и взяли-то мы немного—всего несколько миллионов. В банке есть наша расписка . . .

Это один из „идейных вождей“ белых. Он тоже стремится к внутреннему перевороту и недоволен порядками. Метит в начальники.

57.

Над Нарвой рвутся снаряды большевиков. Со стороны Монастырька. Ночное небо озаряется почти непрерывными зарницами орудийных выстрелов. Иногда — световая ракета.

Бои под городом. На-днях в Ивангороде даже были слышны крики „ура“. Большевики нажимают сильно. Говорят — „Троцкий приказал взять Нарву во что бы то ни стало“... Боятся, что возьмут действительно.

Город полон белыми. Они в казармах, на частных квартирах. На базаре продают аммуницию, одежду, — есть не на что: „юденки“ идут хуже „советских“. Имии оклеивают стены.

Происходят стычки с эстонскими солдатами. Иногда доходит до стрельбы. Вражда в открытую.

В штабе белых еще работают, дежурят офицеры. О чем-то хлопочут, ведут переговоры с союзниками и ген. Теннисоном.

58.

Белых охватила паника. Первый снаряд в городе — они собираются спешно эвакуироваться вглубь Эстонии. Пакуют документы. Ген. Краснов наскоро уничтожает свои прокламации — неудобно их оставлять, — опять красные раздадут своим солдатам, как было в Ямбурге с „Белым Крестом“. Только белому делу повредит.

— Передайте русским, — категорически заявляет ген. Теннисон, — что я еще не эвакуировал лазареты и раненых. Пока не распоряжусь — никто не двинется с места.

Сколько иронии в этих словах!

59.

Русские части еще у Скарятиной Горы, в Гдовском уезде.

За ними клочок русской территории. Красные кричат:

— Эй, товарищи, под кладбище что ли оставили?

По ночам неспокойно — красные нападают. Эстонцы охраняют мост через Нарову, не позволяют переходить.

Прорываются силой. Идут к Иеве. Эстонцы разоружают весьма энергично. Мстят за недавние издевательства. Понятно.

60.

Над Нарвой рвутся снаряды. Орудийная пальба почти не прекращается ни на минуту. Эстонская артиллерия у „Пяты", в 4 верстах от города и у вокзала в городе. Дни напоминают недавние.

— Вот так же стреляли, когда большевики прошлый раз наступали, при немцах, — рассказывает мне хозяин комнаты. — А жутко здесь было. Вскоре после этого эстонцы прогнали красных. Первыми ворвались в город финские добровольцы. В городе еще оставались отряды красных. Мобилизованные. Крестьяне. В полушубках, лаптях, без оружия. Их только пригнали из Ямбурга. Финны хватали их и резали, как баранов. Прямо ножом по горлу. Жуть брала. Звери!... Пленных совсем не брали. А в „Темном Саду", что на берегу Наровы, шли расстрелы. Ставили в шеренгу и одной пулей нескольких. Кто больше — на пари. По улицам валялись трупы. Эстонцы позже пришли. Сразу прекратили. Известно — финнам одно важно: заработать, недаром же они жизнью рисковали. Страшно и вспоминать...

А мне невольно вспоминается Новоселье. Маленький отряд не то шведов, не то датчан. Авантюристы всё.

В местечке виселица. Их никто не понимает — они не понимают никого.

— Каждую ночь идут на „охоту“,— рассказывают мне новосельцы, видавшие виды, когда Балахович усмирял их при красных. — Поймают красного или кого там, притащут в деревню и вешают. Им всё равно кто—лишь бы был доход. Вешают спокойно, с удовольствием даже.

Хорошо еще, что этих зверей мало было в армии.

61.

Ингерманландцы организовали свой батальон. Они не русские, но живут по всему побережью Финского залива, вплоть до Петрограда. Постановили сражаться с большевиками совместно с северо-западной армией, но иметь свое начальство.

Обращаются к Родзянке.

— Что!? Ингерманландцы?! Такого народа нет. Хотят сражаться — пусть вступают в армию. Никаких самостоятельных частей.

Часть рассыпалась. Это называется — признанием прав национальных меньшинств.

62.

— Вот здесь повесили генерала Николаева, — говорят мне ямбуржцы. — Он у красных служил. Старик. Сначала предложили ему перейти на свою сторону. Обещали помилование и пост. Отказался старик. — „Я, — говорит, — не ради денег служил у них. И теперь чести своей не продам.“— Издевались над ним жестоко, а потом повесили. Перекрестился старик на собор. Бесстрашный! Даже вчуже жутко было смотреть. А молодец — не продался.

63.

— Да и как эстонцам относиться к нам хорошо, — говорит мне русский наровчанин. — Ведь, сам Родзянко показывает пример неуважения к ним. Едет на автомобиле через мост. Часовой требует пропуска, а он его матом. Часовой пригрозил стрелять. Только тогда и остановился, да еще накричал. На словах уважение, а на деле плюют. Э-эх!

64.

Конец мая. В Псков приехал гражданский представитель Балаховича — Н. Н. Иванов*) в сопровождении А. И. Чернявского.

Кто они? Откуда? — Неизвестно. О себе ничего не говорят.

— Батька будет следом за нами, — сообщает Иванов. — А вы уже успели организовать городскую управу и земство. Но знаете, в обстановке гражданской войны эти организации не пригодны. Они слишком громоздки. Медленно действуют. Нужен аппарат, действующий решительно и быстро. Пользующийся общественным доверием. По гдовскому опыту я думаю ввести здесь „гражданское общественное управление г.

---

*) Позже выяснилось, что Н. Н. Иванов — петроградский присяжный поверенный, известный по организации в первый период войны „Общественных заводов и банков“ в Петрограде. Организации эти находились в тесной связи с „Вечерним Временем“ и Бор. Сувориным и, когда подошел момент, умерли бесславно и безотчетно. Кто живал в Петрограде, тот помнит на углу Садовой ул. и Невского пр. „Банкирский Дом Н. Иванов и Ко.“ — Это и был „Общественный“ Банк. После ликвидации сев.-зап. фронта, Н. Иванов весьма успешно начал спекулировать на русском безтоварье и не побрезговая вести дела с большевиками.

Пскова и уезда". Этот орган, состоящий из трех-пяти лиц, облеченных безусловным общественным доверием, несравненно лучше справится с задачей, чем всякие управы.

Городская управа и земство ликвидированы. За Ивановым — сам „Батька", а он с протестами не шутит. Умерли безмолвно.

65.

Н. Н. Иванов — председатель „гражданского общественного (!) управления". Самотеком. Членами *он* назначил А. И. Чернова и К. Г. Костылева.

Теплая компания. Действительно, *„пользующиеся"* общественным доверием.

— Сашка Чернов, — шепчутся в городе, — это тот, что под судом за дровяную панаму был. Как же не помнить — городу дрова поставлял, а у самого домик рос да бриллианты к жене приплывали. Каждый мальчишка его знает. Ведь, только благодаря перевороту и спасся. Большевики не дознались, а тут немцы пришли. Еще из царской управы выгнали... Знаем, знаем...

— Костылев — то... Да его еще покойник Батов, царство ему небесное, матюжил. На коленях перед стариком ползал. Еле умолил скандала не поднимать.

Это — „демократическое" управление „Батьки".

До того Иванов был в Гдове. Почему он удалился оттуда — узнать невозможно: письма идут месяцами и перехватываются цензурой.

Случайно приезжают гдовичи:

— А, у вас Иванов... Старый знакомый...

Поздравляем! Ну, как: спекуляцией занимается? Это его специальность. У нас всё время из Эстонии контрабандой колбасу, сыр да другие товары таскал и заставлял по грабительским ценам из кооперативов продавать. Обязательно на „царские“ или „думские“ — других не брал. У вас то же, наверно, делает . . .

— Делает, да с ним — то ничего не поделаешь: — „Батька.“

Они управляли Псковом почти до падения. Это — удельное княжество. Н. Н. Иванов мечтает о „Вольном Пскове“, — повидимому, тогда можно лучше заработать.

66.

Всякий намек на свободу пресекается в корне. Группа псковичей намерена издавать прогрессивную газету в противовес черносотенным. Обращаются к Иванову:

— Позвольте, у нас есть газета — „Новая Россия“. Сотрудничайте в ней. Всякая партийность, страстность сейчас неуместны.

— Нам нужны деньги, — обращается Н. Н. Иванов к группе общественных работников. — Как вы думаете, нельзя ли установить налог на торговцев, а в частности на евреев. Этим путем мы можем собрать значительную сумму.

— Неудобно. Недавно только большевики облагали буржуазию.

Налог всё же вводится.

67.

Ревельский Русский Совет. Старички. Из отставных генералов. Священники. Пахнет

затхлью. Они — представители русского общественного мнения в Эстонии. Какая жалкая ирония!...

Собрались, чтобы выслушать нас, приехавших из самого пекла, Пскова.

Докладываем. Подробно. Красочно.

— Но вы, может-быть, преувеличиваете. Вероятно, всё не так уж страшно. Иванов — он член Совета, демократ. Какие же вам нужны еще порядки? Нельзя же насаждать большевизм. Керенщина теперь непригодна. Нужна — диктатура, твердая власть.

Дальше этого они не идут. Зверинец... И кому нужно было вытаскивать их из нафталина?...

68.

Лежу в Изборске на лугу. Жду поезда в Валк. Рядом какой-то офицер.

Разговорились.

— Я балаховец, — заявляет он прямо, — только знаете, не нравятся мне эти казни. Дико. Ведь, я учился вместе с Костей Геем, председателем псковского совета. Знаю его, — честный был парень, — таким, вероятно, и остался. Нельзя же только за убеждения вешать. И коммунист коммунисту рознь. Так, ведь, всякого можно вздернуть...

Что это — провокация или здоровая мысль, искренняя? Теперь не поймешь — все грани стерты.

69.

В Ревеле разливанное море. Рестораны битком. По улицам белые офицеры в погонах.

Денег у них много, — только один удачный налет. Кутят. Дым коромыслом.

— Хоть день да мой, а что будет завтра — не знаю.

Среди них есть идейные, но мало. Большинству некуда больше приткнуться. Немало здесь и „обиженных“ революцией. Они полны ненависти:

— Только бы дорваться. А там уж мы показали бы этим хамам. Мужичье!... Государством управлять со свиным-то рылом...

Жажда крови и потоки вина. Идейная, — так говорят почти все здесь, — борьба с большевиками и кутежи на награбленные деньги.

Таков тыл. Он — сифилитик.

70.

Эстония начинает переговоры с Советской Россией. Северо-западная армия ликвидируется. Юденич еще в Ревеле. Балахович обнаглел окончательно и занимается налетами уже в самой Эстонии.

Все стремятся урвать. Это — единственная тема для разговоров.

— Ну, как: получили прогонные?

— Нет еще.

— А вы суньте, кому следует. Мигом всё обделают. Я уже два раза получил, — хвастается военный врач. — Можно бы и в третий, да както неловко.

Рвут, тащут, воруют. Но это больше в Ревеле. В Нарве и деревнях солдатам даже жалованье не выдают: — Денег нет!...

71.

Приехал „знаменитый“ Г. Алексинский. Что ему нужно — неизвестно. Говорят, должен увести Юденича, которого эстонцы не выпускают до полного расчета.

Устраивает доклад для желающих. Сообщает о Деникине. Доказывает, что „всё было отлично, если бы не разлагающее влияние опозиции“.

— Нас упрекают в погромах. Это ложь. Все погромы совершены Петлюрой. По подсчетам союзников Петлюрой убито до 40.000 евреев. На самом деле, цифра эта выше, около 70.000. При Деникине же было всего два погрома: один в Фастове, другой в Киеве. Но они были стихийны, власть не принимала никакого участия в их организации...

— А позвольте вас спросить, сколько было убитых во время этих погромов?

— Это не существенно. Подсчета не производилось...

Понятно, — иначе, ведь, и быть не могло.

Через несколько дней он исчезает... вместе с Юденичем, при помощи союзников. Колчаковские фунты уплывают. В Риге Юденич у ген. Нисселя. Alliance!

Вслед за ними скрываются Глазенап, Владимиров и остальные киты северо-западной армии. Им больше здесь нечего делать. Заработали на черный день, а солдаты и офицеры... как хотят.

Так кончился поход на Петроград. Бесславно, но с прибылью для его организаторов.

Следом его остались беженцы. Несчастные,

голодающие, нищенствующие массы, выброшенные злою и преступной рукой бывших генералов. В России — пожарища, разрушения, слезы...

Стоило ли для этого гибнуть тысячам людей?!...

Беженцы.



1.

В Нарве в магазин входит шикарно одетая дама. С ней гувернантка.

Делает покупки. Из ридикюля торчат „царские“.

Русская.

— Извините, сударыня, не будете ли вы так любезны сказать, как мне получить право жительства в Эстонии. Приходится ютиться, где попало. Скрываться от полиции.

— А у меня никакого права жительства нет и не надо.

— Как?

— Вы слыхали, конечно, про Балаховича. Я—его жена. Мы куда хотим, туда и поедем... Мы всюду можем.

Она вытаскивает пачку „царских“, расплачивается и уходит. Ей всюду можно . . . „Царские“ в цене . . . Не из Гдова ли?! . .

2.

Из Петровской крепости на Ивангороде медленно, длинной лентой, тянется толпа. Лохмотья вместо одежды, черные от грязи, худые, с воспаленными блестящими глазами.

Это—военно-пленные северо-западной армии. Русские у русских.

Они не захотели итти на фронт. Это парии, презираемые белыми. Их кормят еле-еле, дают четвертку хлеба в день.

— Не хотите воевать—нечего и жрать. Пусть на советском пайке пробавляются.

А, ведь, был приказ: „Всем переходящим на нашу сторону предоставляется право не воевать . . .“

Они мрут, как осенние мухи, от голода и болезней. В крепости грязь. Окна выбиты. Нет стекол. А на дворе мороз.

Растекаются по городу.

— Подайте, Христа ради, хоть корочку хлеба. Отощали вовсе.

Сердобольные граждане подают. С жадностью набрасываются на огрызки. Роются в отбросах, мусорных ямах. Не люди, а тени Придавленные.

— Эх, хоть бы скорей домой. Как ни плохо, а всё же там лучше . . .

3.

Перед мостом через Нарову толпы крестьян. Насильно взятые белыми в подводы. Их загнали в Нарву. Денег не платят. Лошади гибнут от бескормицы. Сена не выдают.

Они обсуждают вопрос о возвращении домой. Эстонцы пропускают.

— Оно и так подумать: чего большевикам нас преследовать. Не по своей воле пошли—-силой взяли, — говорят в толпе.

— Вестимо, каждому видно: порожняком. Всё дома осталось. Эх, ты, доля горькая . . .

Несколько дней тянутся разговоры. Наконец, кто посмелее, уезжает. Кое-кто успел продать лошадь и телегу.

Приходят вести—„прошли благополучно.“

И тянутся подводчики домой вереницей.

Им-то: „в чужом пиру похмелье“ . . .

4.

— Какими судьбами вы здесь?

— Очень даже путанными. Побывал у Плесецкой на принудительных работах. Бежал. С трудом пробрался к себе. Оттуда на-фронт. Решил во что бы то ни стало перейти. Чуть было эстонцы не убили, когда сдавались в плен.

Он крестьянин. Бывший офицер, социалист. Побывал на Кубани. Ушел: —„Не то,—говорит, —там“. Наконец, сдался в плен. Ищет правды.

— Вы не в армии? Почему у вас нет погон? Здесь все носят . . .

— Нет, батенька, здесь тоже делать нечего. Черносотенство одно. Я на лесных разработках у эстонцев. Относятся хорошо, жаловаться не приходится. Только боимся, как бы русским не передали: у тех хуже.

Через некоторое время встретились снова.

— Еду в Россию.

— Да, ведь, вас там снова арестуют. Не боитесь?

— Больше не могу. Тяжело. Разуверился я во всем—надо работать на своих.

Он уехал в Россию. Эсер, старый работник...

5.

Но невсюду хорошо пленным и у эстонцев.

Холодно от камня. Дело к зиме.

По главной улице Ревеля тянется повозка. В нее впряжены . . . русские военно-пленные.

Босые, голодные. Толпа смотрит равнодушно—„большевики“ . . .

6.

Армии нет—есть гражданские беженцы. Они рассеяны по лесным заготовкам. Прикреплены.

Могут передвигаться только в пределах волости. Им живется местами неплохо. Крестьяне охотно общаются. Кое-кто даже женился на эстонках.

— А что слышно насчет мира? Скоро ли домой поедем?

Тянет.

— Вот, зовут в другие места, да здесь сподручнее. Мы псковские—чуть что, через озеро и у себя.

Их тоже тянет домой: чужой хлеб горек...

7.

В приемной фотографа толчея.

Спешат сняться—надо получить какое-нибудь удостоверение перед тем, как отправиться в неизвестную даль.

На лицах тревога и ожидание. Что-то будет?

— Скажите, нельзя ли в Совдепию как проехать? — спрашивает меня северо-западник.—Я в белых только 15 дней и пробыл,—в Гатчине сдался.

— Проехать? . . Конечно, можно. А что, надоело?

— Да уж лучше в Совдепию, к дому ближе, чем в Сухарных казармах сидеть,—там не жизнь, а каторга. Набиты, что сельди в бочке. Вши, клопы, блохи. Того и гляди, заболеешь. И болеют. Вот, военно-пленным,—тем лучше: они обязательно домой попадут.

— А я записался во Францию, — сообщает другой. — Хоть туда поехать, на чужие страны посмотреть.

— Поглядишь! . . Держи карман шире, — замечает первый солдат. — Так тебя и повезут

на смотрины: „дескать, посмотри, Сидоров, как наши живут, отдохни-ка, устал, родимый“. Выдумал тоже. Брать-то берут нашего брата,—только не для удовольствиев. В роде как бы в полицию или пограничную стражу. Ходил и я туда. Пять лет,—говорят, — служить будешь. 2—3 франка в день, а кроме того 500 франков подъемных. Только их потом дадут. Тоже хитрые—на манер негра нашего брата заманивают. Дескать, куда ему податься,—сидит, как рак на мели,—пойдет и к нам. Это в роде как бы в крепостные . . .

Так „благодетельствуют“ французы русского мужика, попавшего в переделку и по их вине тоже. Их бюро занимаются ловлей голодных. Кое-кого выловили и из Ревеля.

8.

Иеве. Беженский район.

В пустых комнатах бывшего помещичьего дома коптит керосиновая лампочка. На полу навалена солома. Сырость пропитала ее, и она напоминает подстилку в хлеву для скота. В углу лежит чей-то ребенок. Он болен. И в бреду зовет маму.

Не слышно смеха. Царит уныние. И лишь изредка усталый голос нарушает тишину.

— Ну, зачем мы бежали оттуда? Плохо жилось,—что и говорить,—а здесь тоже несладко.

— Да что там-то делается?

— Может-быть, многих и в живых нет: расстреляли за наше бегство.

— Вот, говорят, в Гдове 100 человек сидят в тюрьме, по подозрению.

— Эх, если бы большевики действительно отменили смертную казнь! . .

— Да что там—в тюрьме сгонят. Все едино.

— Ну, а здесь-то что хорошего? Хлеб выдают—урезывают, а на 40 пенни в день разве можно приварок купить?!

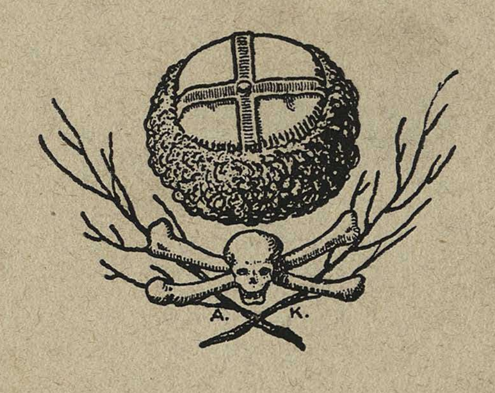
— Да-а . . . Ну, и жисть! Сами виноваты. Спасибо еще эстонцам—принимают нас, как людей.

Молчат. Коптилка еле освещает комнату: от спертого воздуха и она скоро погаснет.

Что-то безнадежно-гнетущее чувствуется в лицах невольных изгнанников.

А в Ревеле головка северо-западников „ликвидирует“ имущество армии в ресторанах с кокотками. Они не знают нужды . . .

Кошмар, сплошной кошмар! . .



Склад издания — Rigā, Nikolaja ielā 20, dz. 1, Latvija.


2015210630